

84 (2Рос-74) 6

С 14

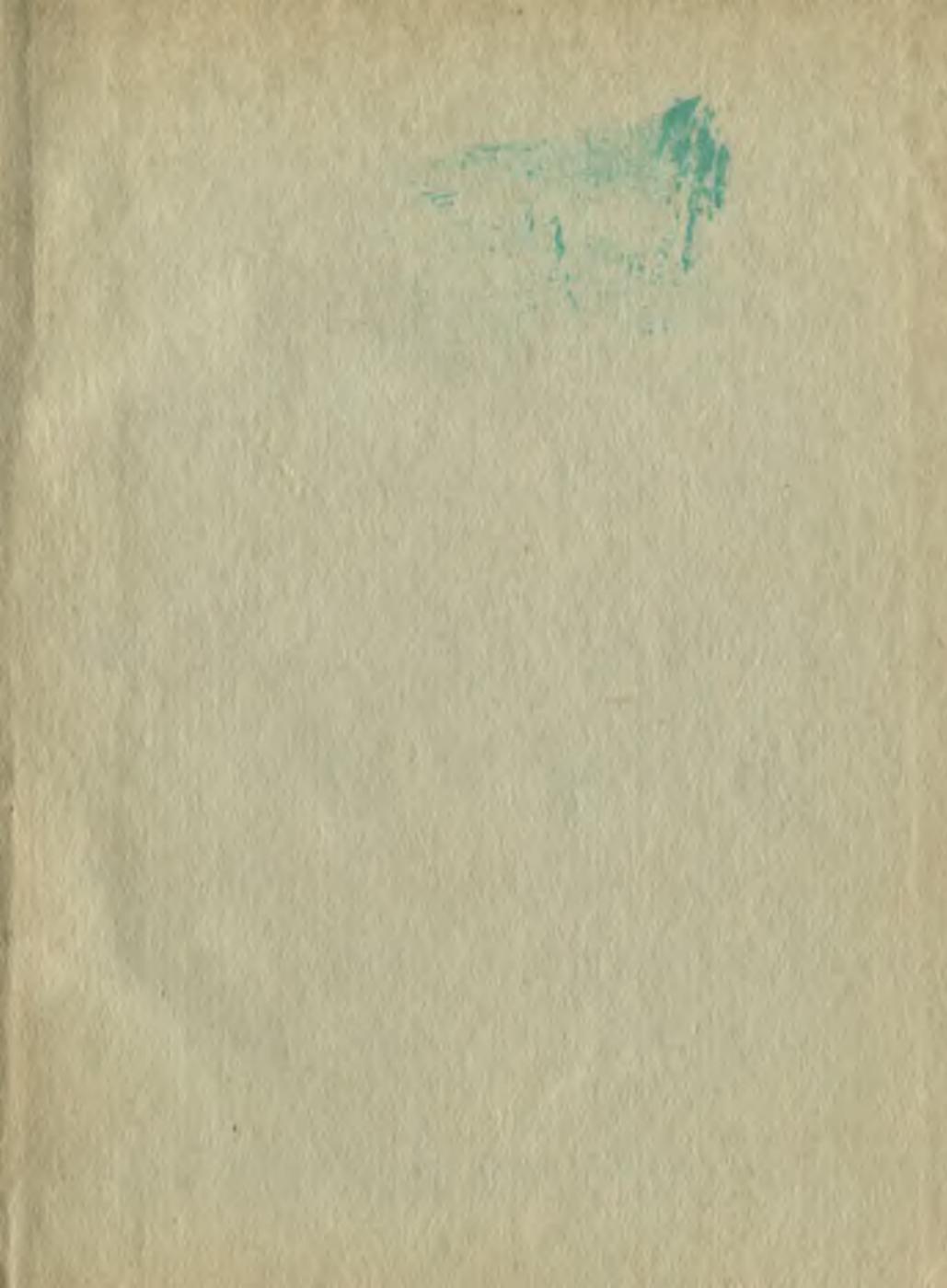
ГЕННАДИЙ
САЗОНОВ

**МАМОНТЫ
И ФАРАОНЫ**

**КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТОК
СРОКОВ ВОЗВРАТА**

КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ
УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ СРОКА

Колич. пред. выдач.	
---------------------	--



84(2Рос=Рус)/6
С 14

ГЕННАДИЙ
САЗОНОВ

МАМОНТЫ И ФАРАОНЫ

Муниципальное агентство культуры
Свердловской области
Бюджетная система
ИНН 7204037883
Литературно-красведческий центр
г. Тюмень, ул. Первомайская, д. 14

- 126744/1-

9/14

Свердловск
Средне-Уральское
книжное издательство
1976



«...Мы еще вернемся сюда. Вернемся и пойдем дальше, и навсегда станем сибиряками. Этой земле нужно так много человеческого тепла». В заключительных этих словах, как и во всей повести Геннадия Сазонова «Мамонты и фараоны», много автобиографичного. Подобно героям повести, летом пятьдесят шестого года студентом-геологом впервые приехал Сазонов на Тюменский Север, в те места, где тремя годами раньше ударил первый в Сибири газовый фонтан. Так же, как парни в «Мамонтах и фараонах», бурил с товарищами скважины, рыл шурфы, продирался сквозь чащобы — правда, в отличие от персонажей повести найти в вечной мерзлоте тушу мамонта будущему автору, увы, не привелось...

Короткой была студенческая практика в приобской тайге, но она многое определила в судьбе молодого волжанина. Окончив в 1958 году геологический факультет Саратовского госуниверситета, Геннадий Сазонов попросил направление на Тюменьщину, где живет и работает вот уже почти два десятка лет. Был старшим геологом, начальником партии. И чем больше накапливалось впечатлений, тем сильнее хотелось рассказать об увиденном и пережитом, о людях, исследующих и обживающих суровый северный край. В 1963 году в газете был напечатан первый рассказ Геннадия Сазонова «Хасырей», а спустя три года в Свердловске вышла первая небольшая книжка молодого геолога — «Привет, старина». За ней последовали «Жалость» (1968) и «Мой дед Захар Нерчинск» (1973).

«Мамонты и фараоны» — четвертая книга Геннадия Сазонова, теперь уже члена Союза писателей. Кроме заглавного произведения в сборник вошли стоящая несколько особняком маленькая, но очень емкая повесть «И вечный бой...» и шесть рассказов. Герои их — искатели и романтики, люди трудных дорог, влюбленные в свой труд, тонко чувствующие красоту сибирской земли. Встретятся здесь читателю и отрицательные персонажи. Нелегка борьба с карьеристами, себялюбцами, потребительски относящимися к жизни и природе, но воля, человечность и мужество первопроходцев — побеждают.

И ВЕЧНЫЙ БОЙ...

1. Война, Петр и Алена

Нет звуков, исчезли они, утонув в гуле. Горький дым закоптил солнце, и оно медленно, большое и тусклое, пробиралось в полдень. Он упал, когда солнце зажгло зенит, и жар боя поглотил его. Петр пал в самом зените, на конце молнии, поднимаясь во весь рост, рывком для взлета, и распахнул рот в крике, и рванул гимнастерку, и пуля поймала его в прыжке, подсекла крик, и он рухнул, но, падая, извергая вопль, он переломил бой. За ним из трещин, из щелей, выдирая себя, словно корни, туго и гибко, распрямились десятки солдат, осмоленных огнем, и вот уже сотни ртов разворочены криком, яростью и ознобом атаки, и этот клич, этот яростный шквал прижал врага к земле, распластал на липких стенах траншей, бросил на камень и стер во прах.

Петр переломил бой и остался неподвижным. Гром оборвался в тишину над горячей окровавленной землей.

Но выжил он, как выживали многие, а похоронка с поля боя не дошла до семьи: жена и дети оставались под немцем. Когда их освободили, казенная бумага отыскала Алenu на догорающих углях, но Алена не крикнула, не забилась в слезах. За полтора года плена она пережила столько смертей, так вызнала всю их бессмысленность, неутолимость и слепоту, что у нее уже не было слез — застыла она, заледенела и стала еще одной вдовой в миллионах других. Война взяла у нее Петра, взяла просто и обыденно, как берут кирпич и глину при постройке дома, валят дерево и косят травы. Отобрала война Петра, отняла у нее радость и покой,

иссушила душу, но Алена сохранила, уберегла детей, и те заполняли ее целиком, не давая ослабнуть. Восемилетний Колька не собирался в школу, он нянчился с Сонькой, добывал у солдат еду, кормил сестренку и солидно по-взрослому ругался.

Петр вернулся в жизнь, и его вновь бросили в бой, вновь война кромсала его тело, но он поднимался и, догоняя свою часть, пришел в свой город, что до войны был тих и молчалив, как монастырская келья, а теперь смотрелся обугленной раной. Он обегал все подвалы, землянки и норы; он звал Алену на пустырях, заглядывал под обгоревшие печи, вызывал из дуплистых лип старого парка, и, уже отчаявшись увидеть ее, светло-волосую и тихую Алену, — нашел. Она брела по искорверканной улице, в потрепанном ватнике и волокла лист фанеры. Громыкала фанера на одичавшей пустой улице под тихим закатом. Она улыбалась ему, уже простившись с ним навсегда, улыбалась нежно и печально, как во сне, не веря яви.

— Дети-то как? Де-ти-и? — дрожал его голос, и весь он дрожал крупным, тяжелым телом, прикрыв ладонями ее лицо, боясь отпустить и увидеть там боль. — Оба живы?

— И ты... ты... Петя... Петяня, живой! Жив! — Вот когда она забилась в крике, вот когда она вырвала спекшуюся, шершавую тоску, и он не мог ничем утешить ее, а только гладил по волосам, и ему казалось, что боль ее бесконечна, и не верилось, что она умещается в таком беззащитном теле — необъятная такая боль.

— Жи-вой! — повторяла она бессвязно и не верила, что судьба так одарила ее, возвращая самое дорогое. Его не было, а теперь он есть! Разве можно в это сразу поверить, охватить испуганным, растерянным рассудком, где еще метались дымы пожарищ, зовы и плач?

— Живой... живой ты, родненький мой! — причитала Алена и, не отпуская его руки, не отрываясь от его

лица, тянула за собой к логову из расщепленных досок, рваной жести и кирпича.— Здеся, Петенька, и хоронимся.

Хорониться здесь было негде.

Сонька и Колька диковато разглядывали усатого солдата с обожженным лицом, шмыгали мокрыми носами, и руки их в цыпках, с обкусанными ногтями жадно крошили хлеб, что отец вытащил из мешка. Они его брали щипками и долго держали во рту, перед тем как проглотить. Алена не заметила, что осколком у Петра срезана бровь и зашито ухо, целуя его руки, она не заметила сквозь слезы, что на левой нет мизинца.

— Теперь не поверю... никогда не поверю, что оставишь нас сиротами,— приговаривала Алена, прикасаясь губами к его отяжелевшему подбородку, к серым глазам, что вбирали ее ласково и ненасытно. Колька по-трогал его плечи, обнял несмело и, закрыв глаза, втянул солдатский запах махры, сукна и пота. Он осторожно дотронулся до орденов и завистливо произнес:

— Вот бы мне один...

— Семен-то в госпитале,— тихо делилась она новостями о соседе,— тяжело он раненный, вот-вот возвратится. А мы с Марьей вдвоем бедуем — у них-то трое. Бабку ихнюю убило... Мастера Лукича с твоего завода... Завод-то твой не дышит, страшной могилы мертвой — завод.

— Береги себя!— Петр держал ее на руках, убаюкивал, и к полночи она заснула, чутко вздрагивая. Так и спали, привалившись к Петру: посапывала Сонька, вскрикивал и звал в атаку Колька, вздрагивала Алена.

Часто снится ему сон: поднимается из глубин тот смертельный бой, когда его убивают,— и он просыпается от крика, от ярости атаки, и Алена простирается над ним — необъятная Алена, от восхода до заката,— и успокаивает его. И он затихает, погружаясь в сон, и там он ищет и ищет Алену и не находит ее, а слышит

только жесткое погромыхивание фанеры и одичавшую от безмолвия улицу. И логово, где дети глотают хлеб, и Колька поднимает себя в атаку.

Три дня Петр пробыл с Аленой и, не смыкая глаз, без отдыха, как бы на одном дыхании соорудил прочную землянку, поставил там печь и вставил окна. Остатки дома расколотил на дрова, вырыл погреб.

— Зачем? — несмело спросила Алена. — Зачем?

— А что? Всю жизнь собралась воевать, Аленушка? Погоди, вот упокоим войну, ты же сама какие закрома потребуешь? И кадушки с моченым огурцом и яблоком, и помидоры, и капусту вилок со смородинным листом, а вот сюда засыпем картошку...

— А здесь полки мне собьешь для сметаны, для кваса, — вошла в игру Алена, разгуливая в пустом погребе. — Нет, квас я буду здесь хранить, чтоб достать сразу, как ты с работы вернешься... А вот сюда грибы, — решила Алена и вдруг остановилась, вытянулась и побледнела. — Коля! — закричала она. — Коля! Петя, давай сюда Сою!

Петр только сейчас услышал тупой, ноющий гул немецких штурмовиков.

— Бомбить будут! — сообщил запыхавшийся Колька. — Ты, папаня, прячься хорошенько, а не то зашибут нечаянно, туды их...

— Коля, — укоризненно протянула Алена, — какие ты слова-то говоришь? — но не кончила: завыли сирены, все покрыли гул и визг. Глухо качалась земля.

Почему после бомбежки такая громкая тишина? Наверно, чтобы больней услышать крик.

— Смотаюсь, поглядеть надо, — решил Колька и удрал.

— Он ведь огород посадил, Петя, — сообщила Алена, — очистил землю от железа, копал, сам-то ростиком с лопату, луночки выкопал и посадил...

— Что посадил? — очнулся Петр от дум.

— В госпиталь ходил, Коля-то, чистил картошку, а очистки принес и в каждую луночку по горсти высыпал. Очистки-то, кожуру картофельную. Она ведь с глазками, может, и в рост пойдет...

— С глазками!— рявкнул Петр.— Луночки!..

Он сполна рассчитается за то, что дети с широкого луга детства вошли в трудное поле взрослых забот. Он рассчитается.

— Береги детей! Себя береги, Аленушка!— И ушел...

За деревьями старого парка, над руинами домов тихо поднималось солнце, роса потно выступала на головешках, мирно прокричал одинокий петух, на солнечный луч сонно брехнула собачонка.

Петр добрался до передовой в покое за детей и Алену, а бой встречал уже привычно и не торопясь, как рабочий свой день. Война оказалась тяжелой работой, но он должен преодолеть ее и поскорее закончить.

Второй день поливает пулемет с левого фланга, нос не высунешь. И ночью не спит — режет и режет.

— Сдельщик,— буркнул Петр Фомич и закутался в шинель,— на пенсию зарабатывает, гад!

— Тебе сколько лет, старшина?— спросил капитан. Тоже не спит вторую ночь.

— Половину прожил, товарищ капитан.

— А сколько она, твоя половина?

— Тридцать восемь, товарищ капитан. Понимаю — хватит, чтоб придавить этого музыканта.

— Двоих с собой возьмешь?

— Одного хватит... Эй, Егор... Егорушка, очнись!

— Чего?— всполошился Егор, глаза трет, а голова падает.— Чего — атака?

— Пойдем, Егорушка... А через часок выплещись.

— Пойдем, пойдем, Фомич,— сладковато зевает Егор, потянулся, хрустнул суставами,— водичка есть? Ой, спа-си-бо... Далеко ли, Фомич?

— Да недалече, — успокоил Петр, докурил сигарку в кулаке, загасил окурок, укрепил на ремне нож, карманы загрузил гранатами, — хоть выпимся без музыки!

В полночь пулемет смолк. Утром вернулся Фомич. Один.

Молча, понимая, смотрели на Фомича, пока тот снимал с себя автоматы — свой и Егора.

— Ну, теперь он поспит, — хрипло сказал Петр и закашлялся. Капитану не по себе стало — вот что делает с человеком война.

— На обратном пути ногу Егорушка сломал, остушился. В госпиталь еле дотащил. Молодой такой, а тяжелый, — удивился Петр Фомич.

Петр Фомич часто писал своей Алене, но никогда не рассказывал ей, что перенес контузию, что был ранен, не писал, как ходил в разведку добывать «языка», как спасал командира и знамя, что вся грудь звенит от орденов и вся она в шрамах. Петр изображал ей тихую, затаившуюся в обороне передовую, кутенка Жулита, что привязался к нему, и в окопе они греют друг друга: «Добрый кобелек выпестуется, и, считай Алена, вернемся вместе, и хоть он, кобеленок, без солдатской книжки воюет, но довольствие получает, воюет справно: за десять минут до налета подает голос — вот как он чует немецкий «юнкерс»! Воем воеет. Прямо орет — а мы, стало быть, в укрытие. А кормят нас отменно — щи наваристые, с мясом, каша, сама понимаешь, с маслом, как положено мужику при тяжелой, грубой работе. Вам-то голоднее, чем мне, — вот о чем болею». Но больше всего спрашивал Петр о ребятишках и заводе. «Дождемся, Алenuшка, той поры, когда с Колькой на смену выйдем».

А потом, где-то в сорок третьем, Петр пропал без вести, но Алена не поверила в его гибель, словно знала она, что Петр пройдет через смерти, перешагнет судь-

бу, чтобы вернуться к ней и детишкам. Петр Фомич оказался у партизан и бился в словацких Татрах, на Дунае нашел свой полк, сражался в Венгрии и Югославии и возвращался домой неискалеченным, с пригоршней золотых и серебряных крестов, отчеканенных зверей и листьев.

2. Семен

Городок ожил, уплотнился домами и улицами, а к заводу густо шли люди. Лейтенант Кузнецов торопился к Алене, на пепелище, убыстрял шаг и немного не дошел — столкнулся с Семеном Рыбиным, другом довоенным и соседом.

— Ой, ты?! Петька?! Живой? Лейтенант! Давай заходи... Ну, заходи-ка скорее! — запрыгал на перебитой ноге Семен, замахал руками, обнимая Петра, несильно встряхивая и тормоша.

— Да мне вот... к Алене, — переводя дыхание и утирая пот, сопротивлялся Петр Фомич, — к Алене мне, Семен, честное тебе слово.

— Алена при больнице. С ребятней Алена. Вишь, землянка заперта, скарб там утильный, да вон мы скворешню с Колькой соорудили.

— Глянь, Семен, скворец заселился, — обрадовался Петр.

— А, — махнул рукой Семен, — всякая птица глупая, хоть и певчая. А певчая больше глупей, чем хищная, оттого что люди ее оберегают. Садись, лейтенант. Алена твоя здорова. Ребятня твоя здорова. А младший, Серега, чуток хворый... Счас! — сунулся Семен в подполье, покопался там, достал бутылку и, наскоро протерев тряпкой, выставил на стол. — Марья моя? На пекарне Марья. Хоть работа как у мартена, но хлебная. — Он запрыгал к полке, звякнул кружками, резанул луковицу. — Стаскивай мешок и шинель скидывай!

— Так... Алена-то, — заупрямился Петр, — три шага до нее, а я бражничать.

— Не обижай! — строго прикрикнул Семен. — Закон такой — за победу и за кровь нашу чарку поднять.

Стащил Семен с Петра солдатский мешок и удивился вдруг.

— Центнер поди, а? Ну и здоров ты, Петя. Иголки, что ли, али камушки к зажигалкам, а? Ой, ходко идут, мильоны загребешь, — дружески поделился Семен, — иголка — трояк, а камушек — пятерка. Деньги-то — бумага, а иголка — вещь, учти.

— Какие иголки? — не понял Петр, но за стол сел, не снимая шинели.

— Хи-кха-кха! Ка-кие? — затрясся Семен в тоненьком смехе, откупоривая посудину. — Вот которые с войны тряпье, шелка там какие заграничные тащут, а кто — кожи, подметки или головки к сапогам, ну а кто еще глупее, те — мотоциклы. — Семен посверкивал глазами, а голос не то что в зависти, а в одобрении, рука дрожит, когда наполнял стаканы — билось горлышко о стекло. — А ты умен, сосед! Ой, умен: игла, скажу тебе, лезвие да гвоздь сапожный мелкий или камушек — самый ходовой товар при теперешнем спросе. Сколь у тебя дефицита? — и глаза его загорелись, прищурились и заговорщицки подмигнули, скулы обострились. — Молодец ты, Петр!

— Да какие такие иглы?.. Что ты, Семен? Вот чудак! Зачем они мне? — смеется Петр, хмельной от встречи, от тишины, от разгорающегося дня, радуясь тому, что жив и не очень-то искалечен сосед. — За победу, Семен! И за вечную память павшим!

Протекли торжественные минуты, и вновь сдвинулись чарки за товарищей боевых, кому не довелось дойти до победы.

— Ты когда вернулся, Семен?

— После Курска. Думал, вовсе обезножу, отчекры-

жат ногу. Нет — оставили ковылять. Да черт с нею, — Семен кинулся к примусу готовить яичницу, но Петр остановил его, поднялся, застегивая ремень.

— Бегу!

— Так по-соседски, по-товарищески не поделишься ли товаром? — снова зацепился Семен.

— Да инструменты у меня там, ей-богу. Резцы больно хороши да напильники бархатные, пара дрелей, тисочки там, ну и по мелочи... собирал брошенное, ну а где и выменивал...

— Инструменты? — недоверчиво и подозрительно протянул Семен. — И выменивал, да? Ты, победитель, выменивал?

— Так у рабочего человека как забирать? — удивился Петр. — Это же грабеж. Он его кормит, инструмент, рабочего-то, понял?

— С войны-то?! Тисочки, резочки? Из Европы? Поперек всего мира прошел и домой тащит дрелю, а? Или врешь ты, Петька, али моменту у тебя не было чем-нибудь разжиться.

— Чудной ты, — засмеялся Петр, — как живешь-то сам? Как завод? Кем работаешь?

— Завод, — кисло усмехнулся Семен, — работа не работа, а слеза копейная. Перебиваемся как голь, мастеров не хватает, тебя часто вспоминают: «Сюда бы Фомича, мол!» Ну а я, сам знаешь, в ОТК, опыт имею.

— Пошел я, — заторопился Петр, — не могу...

— Ты мешок-то оставь, оставь мешок, не сгинет. Беги! Но скажу тебе, — он поманил Петра пальцем и, хотя кроме них никого не было, тихо, но внушительно сообщил: — Есть знакомый, тот может дефицит реализовать.

Когда за Петром захлопнулась дверь, Семен развязал мешок, заглянул вовнутрь и в сердцах плюнул:

— Подь он... в душу...

3. Дом

Не помнит Петр Фомич, отдыхал ли он от войны, только беспробудно спал двое суток, а потом тетешкал ребятишек, возил их на плечах и полаивал, рычал на них, а те притворно пугались и так искусно прятались, словно букашки под лопушками. Только головки одуванчиками поднимались из лебеды. Колька подкарауливал отца, не спуская с него глаз, терпеливо выжидал то время, когда можно не торопясь, по-мужски поговорить с ним о секретах войны и стратегии противника. А на четвертый день с утра Петр Фомич ушел на завод, пропадал там до вечера и пришел веселый, возбужденный и помолодевший.

— Петя... Петяня! — залюбовалась им Алена. — Светишься ты, сокол мой ясный... По работе-то как истосковался, словно с каторги возвратился, ласка моя...

— Счас меняются времена, — доверительно поделился Семен, — и жизнь другая пойдет, другим сортом поднимать страну. Счас, кто героем на фронте ходил, в отчаянной храбрости и лютой ненависти и ничему не обучился, как только кровь лить, те могут не прижиться характером. Счас, учти, друг, тебе такой простор распахнулся, о котором ты до войны и не ведал. Офицер, герой, неискалеченный... Давай — рви себе место.

Не хватало рабочих рук, и Петр Фомич, старший мастер, целыми днями пропадал на заводе, в цехе, а по вечерам, отмыв масло и окалину, кидал лопатой землю — готовил с Колькой фундамент. Он поставит дом на том же старом месте, где помирали деды и родились его дети. Изредка им помогала Алена — то доску подаст, то раствор поднесет.

— Иди, Коленька, поиграй, — гнала она сына от верстака. — Целый день гнешься... И уроки учи. Иди.

— Эх ты, голь голимая, — по-соседски журил Семен, перегибаясь через забор и видя, как медленно, с трудом поднимается дом. — Копейку зарабатываешь, а на заем два заработка месячных положил. Гроши-то есть на ку-рево?

— Будут! — небрежно отмахивается Фомич. — Само-сад не больно дорогой, хоть и зверобойный...

— Могу ссудить по-соседски, — неожиданно вырва-лось у Семена. После обеда он основательно выпил с полезными для него людьми. — У кого, Петро, голова без фантазий, тот завсегда копейку добудет... Сколько у тебя, крестносец? — завидовал Семен иноземным на-градам, чудилось ему в крестах, увитых лаврами, во львах и орлах что-то древнее, рыцарское, не то что круглая бронзовая медалька. То крест. И материал на него идет какой — серебро! Дзинь-дзяк, серебряный звон. — Ну, говори, сколь тебе и на какой срок?! Тыщ пятнадцать желаешь?

— Полно врать! — останавливает его Марья. — Не слу-шай ты его, Фомич, не слушай ты этого звонаря! Ну и пустобрех, прости господи.

Через неделю Семен сам принес Петру деньги, ров-но пятнадцать тысяч, упакованных в газету.

— По-соседски, — наставительно внушал Семен, — выручаю тебя от бедствия ради ребятишек, а больше из того, что не могу без слез видеть такого крупного му-жика на коленях. Тебя прямо распластала, разнагишала нужда, а без людей ты ничего не сотворишь...

— Верно! — согласился Петр, не приняв преподне-сенную сумму.

А через день к нему нагрянул заводской люд — на «помочь». Как на митинг или на маевку пришли, с пес-нями и крохотным оркестриком — две трубы, барабан и баян. Музыка заиграла, прикатили машины с тесом и кирпичом, с известкой и железными прутьями, с ин-струментом, и все, горланя, бросились на дом с такой

горячей, свирепой решимостью, что Алена охнула — разрушат дом, в щепки разнесут! А дом сказочно вырос из стружек и сочных ударов топора, из повизгивания пил, из грохота досок и железа. Подпрыгивая и посадив голос, метался, подавал команды Семен, хрипела медная труба, баян выкомаривал полечку, а рядом с барабаном тяжело опустился Петр Фомич и плакал.

4. Завод

Поднимался завод, обрастал новыми цехами, станками, поднимались новые корпуса, обязательства и планы. Чем-то напоминал завод войну — нет, не штурмом, а каким-то до бесконечности накапливаемым упорством, напряжением, когда работаешь с полной выкладкой, с нетерпением, словно поднимаешь себя шаг за шагом на крутизну горы. Фомич работал запоем, и потихоньку отодвигалась война, напоминая лишь ранами, что гудели и ныли в непогоду.

Немногие вернулись из битвы, такие просеки прорубила война. И кого взяла! Лучших забрала, самых верных, крутых, тяжелых мужиков, что вызнали жизнь от корня до маковки.

«Тяжко!» — вздыхали люди.

«Дай бог!» — молились старики.

«Мама, есть хочу», — просили дети.

Настал мир, но был он труден, как война.

На первых порах заработки казались мизерными — то ли нормы не те, то ли сноровки не хватало, да и станки-то из лома, скрипят и высыпают из себя то шестеренки, то болтики. Фомич, конечно, мог зарабатывать и вдвое, втрое больше, если бы оставался токарем, слесарем или кузнецом. Многие из ребят тащили на базар, на барахолку за хлеб и мясо кто сработанный топор, долото, те же грабли и вилы. Но он, мастер, —

хозяин цеха, а хозяина никогда не покидают заботы. И к нему приходили кто за квартирой, кто насчет дача, кого не устраивал заработок, а кого просто обидели.

— Замечено мной, — рассуждал Семен, — замечено, как слабые люди к себе жалость умеют вызывать. Раз ты ему помог, два, три. А на четвертый он уже всю общественность поднимает.

Часто Петр простаивал у станка после смены, и руки его в ссадинах, окамине и мозолях угадывали любой металл, улавливали его тяжесть и хрупкость. И когда резец начинал противиться, пальцы цепко и ласково успокаивали деталь, тонко и дружелюбно прикасались к ней, как прежде в партизанских отрядах, когда он монтировал и снаряжал мины. Брался он за самые мудреные вещи и, творя их, преодолевая несокрушимость металла, удивлялся часто: рождалось то, что он хотел — вертелось, крутилось, скрипело колесиками и двигалось. И Петр Фомич бесконечно радовался всякий раз, когда ему удавалось то, к чему тянулась его душа, — настраивать машины. Инженеры не всегда могли прочитать заграничные инструкции, а он, Петр Фомич, запускал станки, каким-то образом улавливал схему, и станок рокотал. Здорово у него получалось, но откуда, отчего это бралось, он не знал, да и некогда ему было докапываться. В глубине его, в потаенности прорезался слабый свет и не гас — разгорался и открывал дали, где возникала его, Петра, машина. Он уже точно знал, что это будет станок-автомат, соединивший в себе десятки станков, сотни операций. Он соединит их в себе так, что освободит от унылой монотонности мелкой работы сотни людей. Он уже точно знал...

По вечерам до Семена доносился стук калитки и, выждав час-полтора, он отправлялся к соседу, когда тот, поужинав, забирался в мастерскую, где пахло ма-

шинным маслом, железом, слегка угарно тянуло из-под маленького горна. Вытирая пот, причмокивая губами, Семен цепко всматривался и каждый раз находил в мастерской что-то новое. И это пугало его, тревожило, и он терял обычное свое самодовольство.

— Ты ответь мне, Фомич, ответь по правде, — раскачивался Семен на верстаке, обхватив руками живот, словно его скручивала изнутри бесконечная боль. — Кто ты такой, тихий и малословный? Блаженненький ты или хитрило, что свет не видывал? Все ты в жизни по правде, по прямоте идешь. Но, что важно мне знать, — Семен замотал головой, и волосы набросились на лоб, полезли в глаза, — в душе ли у тебя прямизна или ты делаешь ее против воли, согласно твоему партийному уставу. По душе или по уставу, а?

Петру давно уже не мешала трепотня Семена, он привык к тому, что сосед каждый вечер забирается к нему выяснять позиции, и потихоньку что-нибудь протачивал на станке и клепал, уходя в работу.

— По душе или по уставу? — требовал Семен.

— Работать я люблю, Семен, — отвечал ему Фомич, — знаешь, будто я освобождаюсь от чего-то... вот освобождаюсь от тягости, и тогда я не пустой.

— Удовлетворение тебе в том, да? Тебе счастья прямо по уши, что ты железо калечишь... задаром?

Когда о Петре Фомиче написали брошюру — о его таланте, о душевной щедрости, о том, как дает он жизнь машинам, Семен Рыбин неделю пил и свалился. Пожелтевший и опухший, с ободранным лицом, он взобрался на верстак и откупорил поллитровку.

— Поздравить тебя, почествовать пришел! Давай посудинку. Слышь, поздравить!

— Спасибо! Ты хворый, что ли, Семен? — вытирая руки ветошкой, подошел Фомич. — Ты с водкой не ходи. У меня настоек полно. А от водки ты хвораешь...

— У меня хворь давняя, — понюхал корочку Семен, —

и она в глуби, душевная, значит... Премию дали? — неожиданно спросил он.

— Прошлый квартал получал, а этот только начался.

— Да нет, — отмахнулся Семен, — книжку о тебе писали? Писали. Читали все? Читали. А премию не дали?

— Да за что же?

— Как за что? — удивился Семен. — Понимаешь, славу завиду сотворил — и все за бесплатно. Это же на всю страну — так я понимаю.

— Да брось ты, — добродушно усмехнулся Фомич. — Вот у меня, Семен, мысль появилась — полуавтомат создать, вот это дело. Маленько начал...

— Так, — ощерился Семен, — ну, никак я не могу до тебя докопаться, вот знаю сызмальства, знаю и не помню, чтоб ты пакость кому-нибудь сотворил. И обмана за тобой нет. — Семен налил в стакан, одним глотком выпил и утерся рукавом. — И прямой ты завсегда. Но хоть убей меня, хоть разорви на кусочки — не верю... вот не верю! Не верю я тому, чтоб человек во все времена одинаково жил, без ущербинки, без пятнышка. А сколько за нашу жизнь времен было? Много было временных времен, и каждое говорило своим голосом... или сдавайся, говорило, или сам бей. Но есть в тебе ущербинка, есть, имеется она — потаенная, и жду, жду я многие, многие лета, когда она вылезет из тебя. Жду, и дождусь!

— Полегчает тебе? — усмехнулся Петр. — Ты не мной и не собой жизнь меряй. Для этого оба мы малы, а в жизни есть ядро, что нам обоим не под силу, если и уразумеем, то души не хватит. Понял?

— Нет, — кричит Семен, — не понял! Не хочу такого понимать! Я тогда тебя пойму, когда таких, как ты, масса станет, а пока все такие, как я: хлеб добываем, робим и в добренькие не лезем. Много таких, как ты, а? А откуда добро в тебе — отведу! Врешишь ли: широтворство

Муниципальное предприятие «Торлук»
г. Торлук, ул. Первомайская, 11
Или 220403700
Или 220403700

За
ММ

то! Машину сотворил, на заводе мильон экономии, а получил чего? Жалованье получил и премию с коготок, фотку на крашену доску. И я там побывал, многие разные по разным временам там красовались. Таку фотку за оградкой, на кладбище и мне повесят. И тебе. Вот скажи — уравниет нас смерть?

И опять на Петра дохнуло тем боем, когда он пал плашмя, в зените боя, на конце молнии и, падая, извергая вопль, переломил бой. И придвинулась к нему Алена, визнавшая слепоту и неутолимость смерти, но понявшая, что смерть не может уравниять любимого и постылого. На него дохнуло тем ознобом и яростью, что охватывала всегда в рукопашной.

— Нет, если жизнь нас не может уравниять, то смерть и подавно, — ответил Петр Фомич, и на него навалилась усталость, скучная, обволакивающая усталость от людской недоговоренности, непонимания и мелкоты.

— Откедова, ты мне ответь тогда, откедова доброта истекает? — цеплялся Семен, и Фомич, может, впервые — раньше-то все в шутку, да не всерьез — вгляделся в соседа, которого помнил с первого зуба и первого шага. Зачумленный, измотанный чем-то, сжигаемый изнутри, крохотный мужичонка пытается его, Петра, что есть доброта, честь — ковыряет, вгрызается, душа ли им двигает или устав. И задумался Петр Фомич: росли вместе, отцы их, слесари-сборщики, дружили, и улица одна, и жилье, и пища-то была похожа — щи, каша да блины по праздникам, и гульба под гармошку, и одежда — сапоги-хромачи, косоворотка да кепка, похожи-то всем: детством, отцами-матерями, дедом и городом. Отчего же сейчас, почему?

— Я свой труд не продаю, — отрезал Петр Фомич, — отдаю его...

— Даришь? — прищурился Семен.

— Отдариваю. Отдариваю за то, что во мне от человека ценят. Гордый я, понял? И не доброта во мне,

собачья твоя пасть, а гордость, что я не такой, как ты, — крохобор. Слепой ты, слабый, оттого и злобу гонишь.

— А где же оно, добро? — захромал Семен. — Из земли растет? А? Земля пот забирает, глотает всего, зима холодом жмет, лето жаром палит, зверь клыком рвет... и камень мертв, но покатится с горы — он тебя приласкает. Нету в природе добра, а есть сила разрушительства. Силу могу признать. И хитрость могу. Но добренькое без корысти — тьфу! Есть в жизни среди людей польза и непопольза. Ты — мне, я — тебе, а вдвоем — ему. Есть закон, и есть кара. Но закон, если тебе на пользу, значит, мне — на кару, значит, ты сейчас в пользе ходишь, но завтра тебе он карой обернется. Всякие времена меняют жизнь, и ты не знаешь, кем ты станешь завтра. Дождусь я, Петр Фомич, выжду время, когда оно к тебе карой... ой, выжду!

Семену казалось, что в жизни, в глубинах ее таится такой ключ, который отмыкает все двери, таится высшая мудрость, уразумев которую, можно достичь всего. Поэтому не тихое место нужно искать — погреб там или заводь, а напротив — залезать в самую что ни на есть бучу, туда, где волны покруче, где все дрожит в непокое, в беспорядке и хаосе. Здесь и волной подкинет, а хаос — его же упорядочить надо, а это — время. Потом при порядке разберись, с какого гребня на какой прыгал... Но ему не везло — то в грамоте его обгонят, то в хитрости его обойдут, то отберут силой. Оперится, окрепнет, патефон купит, глядишь, у другого приемник, он приемник достает, а кто-то дом с террасой ставит. Семен каменный отгрохал, с двумя подвалами, а Петру завод телевизор подарил. Семен все связи снабженческие в клубок спутал и добыл мотоцикл, а Петру после второй книги о нем завод машину легковую достал — «езди, Фомич, передавай опыт».

— Жена-то, Алена твоя, до сих пор души в тебе не чает. Так и шебуршится: «Петенька мой да Петрушень-

ка мой... для Петяни достала». Как ее ублажаешь, каким манером, чтобы баба не бесилась? Меня Манюня поедом уже поедает.

Воевал Семен, и страху в нем не было, исполнять приказы бросался со всех ног, торопился в нетерпении большую награду получить.

— Орден мне во как нужен!— объяснял он как-то Петру. И когда тот недоуменно посмотрел на него, растолковал:— Да ясное дело, как божий день... Ну суди сам: росточка я невысокого, можно правдиво признать, мелкого, ума небогатого, то исть ум у меня с тонкостями, с такими приправами, что не каждый и поймет, с чем меня съести. Ну, вот, ум мой тонкостный и прямизны никакой не признает, а везде просвечивает оборотную сторону. Ну и образования я маленького, четырехклассного. А впереди... впереди жизнь. Фигуры нет, ум тонкостный, классов четыре, но место мне в жизни твердое закрепить положено, чтоб ветром не сдуло. Оттого я себя отвагой переполнил и бился за орден, чтобы он мне входы открыл.

Воевал он, да ранило, залечили в госпитале, да покалечило вновь — под свой же танк попал, замешкался: боялся бросить тяжелый сидор за спиной. И праздники для него — мука: впалая грудь тускнеет медалькой, а Петра и через четверть века ордена находят.

— И это что, справедливо? Это все по правде? По уму али в насмешку над судьбой? Али судьба народилась наперед жизни моей? Я тоже рабочий человек, дня я не провел без труда, а кто я есть? Дальше завода меня не знают, править жизнью не допускают, хотя я ее дотла знаю и вижу лишь жестокою правду... Жизнь есть жестокость, твердь, и за все она требует ответ. Но дождусь ли?

— Не дожدهшься, Семен,— жестко отрезал Петр.— Какой ты рабочий?! На рабочем держится мир и все мирское. И гибнет любая страна, где предают его.

— Так, значит, я не рабочий?!— поразился Семен и, ахнув, схватился за голову.— И если не рабочий я и не служащий, то кто же я?

— Не знаю, Семен,— задумчиво ответил Петр,— не знаю. Только скажу тебе одно: рабочий все творит сам и тяжесть мира на себя берет, не отпихивает никакого дела. Всякая боль — его боль, чья-то война — его война. И мимо горя, пусть на другом конце земли оно, не проходит. Потому что весь мир — творение его. А ты себя как и каким ощущаешь? Кто ты есть, Семен?

5. Дети

Десяти лет не было Кольке, когда он собрался бежать на фронт искать отца. Собирался недолго, но основательно — немецкий нож-кортик в чехле, жестяная банка из-под тушенки, куда он сложил пуговицы, шпульку ниток, иглы, обмылок и чистую тряпицу, чтоб утереться, моточек дратвы и кусок вару, осколок зеркала и два рыболовных крючка. Он возлагал большие надежды на рыбалку и оттого вычистил до блеска котелок. В тряпицу завязал щепоть соли — он выменял ее у Гришки Рыбина на две ракеты. Гришка, отсыпая соль, ревниво спросил:

— Зачем тебе?

— Рыбу солить,— ответил Колька,— наловлю ведро и засолю.

Вещички для побега Колька складывал в старенький мешок и прятал под корневище сосны, что поднималась за землянкой. Гришка выследил его и потребовал за молчание рыболовный крючок. Колька не отдал, Гришка пригрозил разоблачением. Тогда Колька вздул его.

— Тетя Алена,— вытирая разбитый нос, орал Гришка под окном,— тетка Алена, Колька мешок собрал...

— Какой мешок?

— Убегет он,— задыхаясь от слез, сообщил Гришка.

— Где?!— Алена схватила Гришку, и тот подвел ее к тайнику.

— Господи! Да что же это он?— прижимая мешок к груди, заплакала Алена.— Ни разу не обидела его...

— Бегун он!— подтвердил Гришка.— Я все вам буду говорить про Кольку, тетка Алена, у него патронный склад есть.

Так и начался у них этот хоровод: Колька лупил Гришку, тот ябедничал Алене, отцу, матери, и круг не мог разорваться. Сонька играла в куклы с Лидкой Рыбиной. У них появились свои девчачьи тайны. Они исчезали в саду, в лопухах, играли то в базар, то в больницу. Лидка изображала тяжелобольную, умирающую женщину, закатывала, как мать, глаза, грузно вздыхала и тоненьким голоском причитала:

— Угробил меня, зараза! Растоптал красу мою девичью! Душу испепелил, коряга хромоногая, пьянчужка горькая!..

Сонька осуждающе сдвигала черные брови:

— Нельзя так про отца, нехорошо!

А Лидка опрокидывалась навзничь на охапку жухлых листьев и, войдя в роль, голосила Марьиным баском:

— Чучело, гримза несусветная, кикимора бесхвостая!

— Гляди, Петро,— ликовал Семен,— третий-то слой, рыжики-волнушки, слой-то третий, послевоенный-то, что вытворяет!

На мягком лужке младшенькие Виктор Петрович и Ирина Семеновна поднимались с четверенок и гыгыкали слюнявыми ртами. Счастливый смех полыхал над ними, смеялись они до икоты, больше ничего и не умели, только смеяться и плакать.

— Девчонки всегда первые начинают ходить, Витька-то не догонит.

— Придет время, — шурится на солнце Петр Фомич. — Ви-и-тя!

— Гы-ггу, — заплескал смехом Витька.

— Ги-и-ги-и! — откликнулась Иринка.

И не заметил Петр Фомич, как быстро поднялись, окрепли и покинули отцовский дом старшие дети, каждого позвало его дело: Николай — военный, Соня — биолог, Серега стал астрономом и лишь младший, Виктор, полгода назад закончил техническое училище и работал с отцом на заводе.

Петр Фомич часто вспоминает старших детей, как они там, как их семьи, как внуки — ведь только по праздникам навещают. Непокойно ему и за Николая — время сложное, суровое, беспокоит его и Соня — мается с мужем по экспедициям, и дети остаются с ним и Аленой. Серега — тот сам себе голова, у того жена крутая женщина, с мужскими хватками и командирским голосом.

— Сергей! — приказывает жена. — Обойди все магазины и достань отцу кабель. А из лаборатории принеси тестер.

У Виктора прорезался бас, темные усики опушили верхнюю губу, густые волосы падают на плечи, и мать, частенько любясь его ладной, ловкой фигурой, тревожилась: «Сгубят его девчонки. Красивый парень, легкий. Весь город его знает с тех пор, как футбол начал гонять. Отец ни одной игры не пропустил, даже хворый на стадион добирался».

— Петя... Петруша, запрети ты Витьке машиной твоей баловаться, — как-то вечером подседа к мужу Алена. — Гоняет везде как бешеный, девчонок возит... а на той неделе, слышь меня, Петя, на той неделе винцом от него пахивало...

— Пахивало! — рассмеялся Петр Фомич. — У него

режим, мать. Там тренер в них клещом вцепился, нарзаном только и поит. Да он и не баловень вроде. Работает хорошо, в цехе довольны, в команде его ребята ценят. На мастера спорта тянет.

— Тянет, — протянула Алена, — да по нему, Петя, Ирка-то как сохнет. Такая девушка дивная — красивая, станом тонкая, лицо такое теплое. На той неделе, поздно уже вышла во двор, слышу из темноты плач. Говорит она Витьке: «Если отринешься от меня — повешусь. Сначала тебя убью, чтоб никому не доставался, а сама повешусь». А он ей с усмешкой: «Капризы в тебе, а не характер. Захотела вещь — подай! А я нелегкодоступный». А та плачет... и жалко мне ее, девушка дивная.

— То их дело, — уткнулся в газету Петр Фомич, — нам здесь толкаться — только портить.

— Ой, боюсь я за него, Петя, мягкий он, зыбкий. То ли нежный, то ли не спелый. Вот Коля...

— Ну, Никола, — перебил ее Фомич, — он человек военный. Бог войны. И чин у него майорский. Крутой, жесткий мужик — не свернешь. Ему бы со мной работать, руки-то золотые. Нет, затянула его служба с головой. Да и то верно, армия — это порядок, готовность и ответственность. Слово даром не скажешь, нет! Что слово — то к исполнению.

Алена не торопясь накрывала на стол, мельком посмотрела на часы, двигалась бесшумно из кухни в столовую, погромыхивала посудой. Фомич не отрывался от газеты. Алена недовольна, что разговор опять обернулся пустотой:

— Ну, что ты все про Колю-то?! Пусть он жесткий, но справедливый. Милосердный он потому, что из войны вышел, и огонь, и смерть видел. Голод и холод пережил, и оттого в нем всегда правильность живет. Кто из войны вышел, тот всегда последнее отдаст, — убежденно и горячо говорит Алена, а Петр не понимаем: и не поймешь, согласен ли...

— Да, последнее отдаст и себя не пожалсет, а вот Витя... Витя, он скажу тебе, мутный еще. Жизнь для него — музыка и песня, готовая у него жизнь. И вошел он в нее в нарядную, сытую — кто его тронет, кто у него чего заберет? Сейчас у них все по-иному, и завидую им, и радуюсь, и тревожно мне, что все легко-то им. Ты поприжми его, Петя, поприжми, чтоб он похестче стал, а? Вон он во двор входит... Поговори.

— Добрый вечер, отец! Здравствуй, мама, — Виктор стаскивает с себя пальто и проходит в ванную, шумно фыркает, плещет водой. Выходит свежий, сияющий, передергивая плечами, словно тесна ему ковбойка.

— Чего так поздно? Восьмой час, и тренировок сегодня нет, — поинтересовался отец, — или цех ваш на штурмах живет, Витек?

— Да нет, — махнул рукой Виктор, — подрядился я тут одному... машину собрать.

— Как собрать? — удивился отец.

— Как собирают? Вал, кардан, двигатель, кузов. Крути гайки да прокладки подгоняй, — сочно и густо засмеялся сын, раскинул руки, колебнулся тугим мощным телом, крикнул: — Мам, дай поесть!

— погоди, — остановил Алену отец, — погоди. Так у него... мастерская есть, у того человека? Где вы детали протачиваете, шлифуете? Там ведь и сверлить надо.

Виктор засмеялся и махнул рукой:

— Чудной ты, отец. А завод на что? Я поди на всех станках работаю и тем славу твою умножаю.

— На всех станках — это верно, — задумчиво протянул Петр Фомич.

— Ну, вот. На доску скоро выйду, не одному тебе там красоваться.

— Выйдешь, выйдешь, Витюша, — ласково гладит Алена сына по плечам, — ты только старайся.

— Но ведь ты на машину тратишь металл, энергию, станки, а?

— Ну и что?

— Как что? Резцы тратишь, оборудование изнашиваешь, детали где-то берешь. Берешь?

— Да не мое это дело, — обиделся Виктор, — что ты так глядишь? Начальнику цеха собираю машину. Попросил он, понял? «Хочешь, — говорит, — на всех станках квалификацию до высшего разряда поднять?» — «Хочу», — говорю. «Вот давай! Берись!» И дал мне команду. А мне что, думаешь, не интересно машину собрать своими руками, а?

— Детали? — повысил голос отец.

— Да не моя то забота, — отрезал Виктор. — Говорю же тебе, дал тот команду Семену Рыбину, и он отпускает, какие надо.

— Семен? — ойкнула Алена. — Так то же дело темное, если там Семен... Витенька...

— Да что вы на меня накинулись? Что я, ворую?

— Воруюшь! — отрубил Петр Фомич.

— Ворую? — поразился Виктор. — Я ворую? Меня в проходной задержали хоть раз? Да я гвоздя с завода не вынес!

— Зато машину выкатаешь, — Петр Фомич уже понял, что сын запутался, что-то дорогое и ценное принимает за обыденное, повседневное, что-то не принимает вовсе и понимает по-другому, иначе, чем он, Петр Фомич. — У завода все берешь, вот оно что! — Петр Фомич, тяжело ступая, ходил по комнате, и она казалась тесной.

— А он чей, завод? Чей он, скажи! — поднял голос Виктор. — Он что, не мой, завод? Он твой, ее и мой.

Алена, притаив дыхание, слушала сына и видела растерянность Петра, и то смутное, что беспокоило ее последние дни, осело внутри тревогой.

— Витя, — позвала она сына. — Витя! Не кричи на отца. Завод твой — общий. И больше общий, чем твой. Твое-то там кроха крошечная. И твою долю разве с до-

лей отца поставишь рядом? Нет, сынок мой. Так зачем же ты, вложив кроху, на общее-то кинулся? Общее-то — оно заповедное, как святыня, для всех оно.

Все было просто, и все было сложнее. Может, рассказать ему еще раз, как с войны, из разрушенных городов, испепеленных стран, через жар боев и холод смерти Петр Фомич вынес к своему заводу слесарный инструмент?..

— Видел, — отмахнулся как-то Виктор, — видел я его в музее среди утиля. Сейчас это, отец, не инструмент, а сказки братьев Grimm.

Крепко он тогда задел Петра Фомича, но отец смолчал — «мал еще, зеленый лопушок».

Нет, не знает Петр Фомич, что это за жизнь, где все так просто, даже не просто, а упрощенно до предела. Он не может понять ее, доселе понятную и прозрачную, не может понять, потому что отрицает, отталкивает от себя такую жизнь, а приемлет он ту, что зарождалась на грани века и пестовалась в огнях войн, ту, что оставили ему деды — русские мужики, темные от силы и прозревающие от надежды. Проглядел он сына, но не отрекается от него и не отречется. Он должен судить его сам, отцовским законом, законом родительской любви и муки, не казнить, не изгаляться, а наказывать так, чтобы тот принял кару за благо. Но где и когда была у отцов такая кара? Деды проклинали, деды не давали родительского благословения, деды лишали имени и могли лишиться родины, родимой стороны, — то была тогдашняя, дремучая ветхозаветная кара. А сейчас другое время...

6. Вечный бой

Поздно вечером возвращался на другой день Петр Фомич. Без утайки, начистоту поговорил он с начальником цеха. Тот каялся, крутился и клятвенно заверил,

что разрушит ту чертову карусель, что завертел с машиной. Не помнит Петр Фомич, как добрался он домой, шел без мыслей, опустошенный, будто избитый. Распахнул калитку, а в доме тишина, как при покойнике. Никогда не видел Петр такой Алены. Высоко на белой подушке темнела ее голова, глаза провалились и пусто так смотрели перед собой, губы посинели, и не слышно дыхания.

— Помру я, Петя! Позор-то какой...— и задрожало лицо, но ожило, омытое слезами. — Позор-то какой, лучше помереть скорее.

— Аленушка, — Петр Фомич почувствовал себя вдруг слабым, постаревшим, его настигло чувство неосознанной вины перед нею, — Аленушка, что?

— Витька... Витюша... ой, стыдоба, — и заголосила, забилась в плаче. — Семен сейчас прискочит. Стрельбу он здесь открывал. Орал на всю улицу. Картечью ведь в Витьку-то стрелял... Как в собаку бешеную, бродячую...

— Сказывай! — Петр Фомич повернулся к сыну. Не будет он кричать, ему больно кричать, не дает ему крикнуть разбухшее сердце. — Говори, что случилось?

— Отвечай, — жалобным тонким голосом протянула Алена, — не казни отца. Что ты натворил, сынок, поди, не все ведь правда, а? — с надеждой приподнялась Алена. — Поди, оговорил Семен, а?

Молчит Виктор, сомкнув губы, брови отцовские насупил и взгляд отводит.

— Ну! — прохнул кулаком Петр Фомич, и стол закачался, жалобно скрипнул, шкатулка упала, и пуговицы из нее раскатились по разным углам.

— Бить меня не положено. Паспорт имею. Только сами себя шумом пугаете.

— Витенька... Витюша, — заметалась на постели Алена, — ведь нечаянно все, да? Не молчи, сказывай отцу, что нечаянно!

— Нечаянно окно в школе разбил. И нечаянно учительницу велосипедом сбил, — ответил Виктор. — А здесь... не знаю, как...

— Как не знаешь? — не понял Петр Фомич.

— Ну, как... собрались у Ирэн...

— У какой Ирэн?

— Да у Ирки, господи ты боже! Они же, отец, себя так обзывают... Собрались у Ирэн. Ей мать туфли на высоком каблуке подарила, а дядя Семен два червонца подкинул...

— Зачем? Какое торжество? Какой такой праздник?

— Говорит, приходите, на даче мусор выгребете и хлам спалите и отдыхайте с комфортом. Устройте ударник, мол, поработайте, а потом — пикник. Ну, мы поработали, а потом музыку слушали и танцевали.

— И сколько же вас было?

— Двое парней да Ирэн... по очереди танцевали.

— Не тяни душу! — взмолилась мать.

— Она мне говорит: «Вик, тет-а-тет, выдь на аудиенцию».

Вышли и стали целоваться. Так просто... Ну а потом... — сын полыхал, ему противно и стыдно, горько и паршиво. — Потом... в общем... как женщина повела себя... «Твоя», — говорит... Я... никогда она мне по-настоящему не нравилась. Уйти хотел, а она повисла на мне... Потом говорит: «Сопляк ты, кроме усов ничего не выросло. Гнида ты, даже ползать не можешь!.. Женишься?» — «Ни в жизнь», — отвечаю.

— Ой-ей, — тихо плачет Алена.

— Ты же дружил с ней, а? — потерянно спрашивает Фомич. — И до такого довел...

— Гнидой обругала, — повисил голос Виктор, — ну, я ударил ее...

— Так... ударил... — сипнет голосом Петр Фомич.

— Петя! Пе-етя! — надрывается Алена. — Петруша, не вынимай ты себе сердце!

— Как же ты посмел... Да свою девушку похабить и побить?!

— «Я тебе попомню», сказала, — криво усмехнулся Виктор, — и давай кричать, что... что я... ну, насильно... В слезах к отцу побежала. А тот ружье схватил и пальбу устроил...

Перед ним сидел Семен, причесанный, чисто бритый, в парадном костюме, трезвый.

— Ну, брат, не горюй, — торжественно и громко говорит Семен, — ладно, погорячился я, пальбу открыл, дочь-то — кровь родная, по-родительски надо... Любит она его до безумства.

Он не слышит Семена и почти не видит. Кажется ему, будто он на берегу, а Семен в воде, в реке присел на дно, облокотился на корягу.

— Ладно, молоды они, зелены, и все у них по-зеленому, как среди лопухов. Любовь там у них, притяжение душ и тел. Правильно говорю, Алена?

— Любовь... — выдохнула Алена. — Какая там любовь, господи?

— Счас другим манером любят, — хихикнул Семен, — открытость чувств. Юбка до пупка, и голова в гриве. Это, мать ты моя, не под гармошку, понимать надо. Что я, Петр Фомич, информирую? Информирую то, что в любой ситуации имеется выход. Должен быть, только ты не горячись. Предлагаю порок наказать! — поджал губы Семен. — Каленым железом! Она к нему с любовью, а он — бить ее. Нет, не положено!

— Наказать... а не исправлять ли? — погруженный в себя, раздумывает Петр.

— Вот-вот, — подхватил Семен, — наказать всегда успеется. Вон милиционер гуляет, раз — и нету! А исправить — это ты верно. Вот они и пушай поженятся, сокроет Витька падение свое, а я, сосед ты мой уважае-

мый, а я... даю родительское благословение. Пущай так будет.

И Петр Фомич увидел, как из глаз Семена выкатились слезины.

И вновь нет звуков, пропали, исчезли они, утонув в гуле сердца. Раскалилось оно до искристой желтизны и медленно, болезненное и кровавое, пробиралось к горлу. Петр падал во тьму, на конце молнии, широко открыв рот, и вопль его переломил бой. То был шепот тех корней, что держали его всю жизнь и хранили для жизни. Вот то испытание, через которое должен пройти каждый, когда другой мир предлагает примирение и нужно выбирать.

— Ну, ладно, — поднялся Семен, — тогда пущай парашу в тюрюге таскает. Пущай, опосля ему не захочется девку взять спеленькую, ишь ты, ухарь! В его годы я сахару вдосталь не пробовал, а он от девчонки нос воротит! Закон, он правый, и закон на стороне обиженного. Пущай ему и тебе кара, Петр Фомич! Как знал — все накладные и махинации с машиной на Витьку собрал. Вот пущай он в мерзлых краях землю поколупает.

Петр знает, что бой переломился. Он пересилил сердце и переломил бой, бой бескровный и страшный, потому что он вечный, тяжкий и упорный.

— Заболелась я, — тихо прошептала Алена, и полыхнули ее глаза, — заболелась я, Петя, что согласие дашь, упрашивать его станешь... Прости меня, что подумала. Витю так уж жалко...

Петр Фомич распахнул окно. Горьковато потянуло березовой почкой, талой водой и разогретой теплой землею.

МАМОНТЫ И ФАРАОНЫ

Глава 1

Давно уже не содрогалась наша планета так мощно и судорожно, как в марте тысяча девятьсот пятьдесят шестого года. Колыхнулась Камчатка. Сопка Безымянная, немая, окованная в лед, безымянная горушка в три тысячи метров взорвалась. Вершину ее сорвало, стряхнуло словно пепел с окурка; развороченное жерло гудяще раскрыло глубины, а столб пепла смерчем поднялся на сорок километров. Клокотала, причмокивала, расплавленно пузырилась, окаменевала и трескалась кожаца юной земли. Над ней полыхали ею же рожденные грозы, обрушивались горячие ливни грязи, но она не захлебывалась, а поднималась из пара и зазывала к себе глубинным голосом.

— По ночам там явно не уснуть, — взъерошенный, раскаленный Витька мечется по комнате, натывается коленками на стулья и диковато отсвечивает пожелтевшими глазами. — Вулкан ворчит подземельно так: ур-р-ру из конуры, земля дрожит по-собачьи, газ гадючий и пар из трещин истекают бесшумно. Обволакивают все... Нет, не уснуть... Кам-чат-ка!

Мы бились за эту сопку, за эту Безымянную в мыле и в пене, изворачивались, сгибались в три погибели, перебаламутили кафедру и деканат... И вот добились.

Сейчас май пятьдесят шестого, сессия за четвертый курс университета, одетый в зелень Саратов и направление на Камчатку — преддипломная практика у жерла неостывающего вулкана. Будто вымолили, выкляли свидание у непостижимой женщины, и теперь пришло состояние томления и ожидания: ты изнемогаешь от

нетерпения, но тебя держит крепко время, срок, и натягиваешь до предела нервы — только бы не сорваться. И почему вдруг Камчатка? Потому что так громко позвала из своего далека? Или дотронулась до честолюбия, ударила по тем глубинам, что таятся в нас и выбрасывают, как из катапульты, в неизвестное? Кто знает, откуда проникает в нас зов далеких земель...

В фиолетовых закатах тихо протаивают дни, и душно пахнет сиренью. В комнату, где мы заживо замуровали себя, приглушенно доносится Волга, сипловатые голоса пароходов, вечерние шорохи притомившегося города. Мы подгоняем дни, досрочно сдаем экзамены, и наши сны разрывают вулканы.

Вот здесь-то и появился к нам Николай Басков, громоздкий и шумный, и тесно ему в студенческой комнатухе, словно бульдозеру среди керамики.

— Что-то нас много стало, — прищурился Витька.

— Камчатка, да? Гейзеры там, да? — загремел Николай, распахнул белозубый рот, и его приятно видеть, крупного, тугого и загорелого. — Камчадалы, черт вас возьми. Захожу сегодня к декану, а тот тоненько ухмыляется: «На гейзеры собрались. А может, на грязевые ванны».

— Гейзеры! — отрезал Витька. — И вулкан еще, Безымянная сопка, понял?

— Что безымянная, понял. И то, что вам делать там нечего, тоже понял. Вул-ка-ны?! — голос Николая дробится смешком, наливается ехидством и холодит лезвием. — Земля там дышит в пару, а? Желаете вкусить пер-воз-данность? Плутонисты! — презрительно фыркнул он и засел за стол.

Баскова мы немного знаем, хотя многие поступки его необъяснимы, точнее мотивы их. Он считает себя неотразимым и, будучи довольно тщеславным, изо всех сил старается произвести впечатление, что часто ему удается. Но он никогда не заигрывает и не кокетничает,

а просто дышит на тебя чистотой и нерастраченностью. Басков так накачал себе бицепсы штангой и борьбой, что смотреть боязно. Были у меня с ним две встречи на ковре, и обе он выиграл, просто раздирал меня на детали и приятно улыбался. Аспирантура, а точнее, шеф и тонконогие аспиранточки отучили Николая от крепких словечек, но не смягчили хваток — он остался человеком-тараном.

— А подпустят ли вас к жерлу, а? — задрожал Басков в смехе. Издевается. Вытащил папиросы, швырнул пачку на стол, закурил. — Подпустят, спрашиваю? Не раненько ли? Или сразу решили в мальчишки на побегушках определиться, а? Не гляди так на меня, не гляди, — стул под ним заскрипел, он усаживался поудобнее и надолго. — Да там же наука — доктора и академики, а у каждого свита, придворные, и они облепили всю сопку, как термитник, вулкана не видно: телами своими закрыли, как сочинский пляж. Но они-то знают, чего хотят: возьмут вулкан в оберточку, в суперобложку монографий — кому газ, кому пепел, а кому механизмы извержения. А вы... вы-то какого черта сможете там увидеть, а? Термос с коньяком за академиком таскать или по вечерам ему пятки почесывать?

— Тебе-то до этого какое дело, Коля? — спросил я его. — Мы без тебя придумали, без тебя этот вулкан себе добыли. И кем мы там станем, зачем тебе?

— Нечего там делать! — отрезал он. — Есть дела поважнее, чем какая-то безымянная сопка. Это же камерный вопрос — вулканы... И занимается ими малюсенькая группа академистов. А вас там распотрошат, как пескарей.

— Что ты с колуном-то лезешь? — разозлился Витька.

Баскову это понравилось, и он принялся внедряться в нас, вламываться и дробить нашу зыбкую мечту. Он бил себя в грудь, хохотал оглушительно, высвечивал глазами, прищуривал их презрительно, засучил рукава

и потрясал кулачищами, и гремел при этом так, словно орудовал ломом и кувалдой. Он был похож на танк, что лезет напролом по отвесной стене. Когда же он не сумел смести нас лавиной и мы устояли, Басков отбросил тактику ледокола и занялся искушением.

Голос его стал мягким, как бы налился цветом, и Басков уже не говорил — он пел баритоном, пел о Сибири, где работал второй год, об огромной стране, шерстистой и мерзлой, в беге оленя и лосином гоне, в по-свистах бурана и холодном свечении неба, в шуршании поземки, что тянется, покуривая снежной дымкой, огибая сугробы. Майский день озяб, похолодел, когда Басков заговорил о вечной мерзлоте. Но Витька перебил его.

— Все это нам откроет и Камчатка! — заявил он. — Там хватит мерзлоты на многие века.

Тогда Басков загремел об Иртыше и Оби, что согревают ту землю, о тайге, где жирует всяческое зверье, а сама-то Обь кишит рыбой, будто не река это, а рыбный рынок.

— Ты видел нельму? Нет! Ты пробовал муксуна?

Мы не знали ни нельмы, ни муксуна.

— Там щурят на петлю ловят из проволоки, ты же рыбак, — схватил меня Басков за плечи.

— Рыбак, а не рыбовод! Геолог я и еду на Камчатку.

— Там, на Оби, еще ничего не тронута! — Басков уже так кричал, что в комнату начали заглядывать — не драка ли? — Там еще ничего не открыто. Там народы из патриархата шагнули в наш век. Там может оказаться и Золотая Баба, — он почему-то снова обратился ко мне.

— У него своя железная девчонка, — влез Иван и подмигнул.

— Нам нужна Камчатка! — отчеканил Витька. — И Женьке. И мне. И Петру... тому же Ивану. Мы

болеем ей, заразились и бодем. Через полмесяца мы там будем, понял? И не гуди! Ты уже второй год ребят сманиваешь, вербовщик. А что они привезли?

— Я вербовщик?!— он прищурил глаза и уставился на Витьку.— Сейчас врежу тебе между глаз, и поймешь заодно, как хамить!

— Ры-ба там, а? Медведи... ка-за-ки... зо-лотые бабы!.. Ну и что? Экзотикой — вот ты чем заманиваешь. Камчатка — это же лаборатория... на глазах, как в пробирке, рождаются минералы и горные породы. А ты? Ты предлагаешь какую-то Тюмень, ха! Это же просто смешно, и разговор у нас пустой...

— Смешно?— растерялся Басков.

— Смешно и нелепо, а главное, несовместимо — сейсмически активная Камчатка, где все живьем и вправду... и плоская, как блин, дряблая и дохлая Западная Сибирь. Вся твоя Тюмень — сплошная пустота, мерзлота, а сверху — прокисшее болото. Кого там искать? Вместо куска мяса дохлятиной заманиваешь!..

— Западная Сибирь — дохлятина?— прошипел Басков. Это настолько оскорбило его, что ему стало бесконечно скучно, ему стало противно среди нас, словно он попал в карантин. Устало, слабея на глазах, Басков присел на стул, тот пощеньячьи пискнул, тогда он бросил свое тело на койку, и та почему-то выдержала. Глаза его округлились, льдисто заголубели.— Извинись немедленно!— потребовал он.— Извинись, или я из тебя Квазимодо сделаю...

Витька фыркнул, Басков поднялся и вышел.

— Не надо так!— Иван поправил расплюснутую постель и сложил конспекты стопкой.— У него ведь тоже мечта, и ему охота воплотить ее. Но вот зачем мы ему нужны — вот вопрос? Зачем мы ему нужны?!

Через четверть часа Басков вернулся. Улыбающийся, бодрый, уселся за стол как ни в чем не бывало.

— Так что же, едем? — вновь вцепился он. — Вы заставляете себя долго уговаривать, можете остаться в старых девах. С чего это? Или на вас декана с цепи спустить, а?

Басков принялся угрожать, а это у него всегда получалось. Он приподнимался, разводил руками, резко взмахивал. Он пришептывал и шепелявил, будто у него тяжелел язык, на миг останавливался, и в голосе парождалась гроза, и рокотала она, и казалось, что он сейчас взорвется, закружится шаровой молнией и рассыплется неземным огнем.

— Это пижонство, — вопил Басков, — убежать от настоящей работы на край света!

Он долго и громко бил в бубен, шаманил над нами, таранил, и постепенно в монолите нашего упорства стали появляться первые трещинки. Басков тотчас же принялся расширять их.

— Это нечеловечески огромная страна, затерянный мир, — у него хитровато блеснули глаза, — не исключено, что в недоступных местах еще обретаются мамонты. Не смейся, Женька. Полчеловека на квадратный километр, жижее, чем в Сахаре.

— Ну хорошо, — начал я. — Но почему, Николай, именно мы тебе нужны?

— Во-первых, — Басков невозмутимо загибал пальцы, — я набираю в свою партию земляков, точнее, лично мною узанных парней, в которых уверен, как в самом себе, — он взглянул на Витьку, но тот не захотел оценить слишком откровенной лестии. — Во-вторых, здесь, в Саратове, почти никто еще не узрел в Тюмени будущего, а мне бы очень хотелось видеть вас первопроходцами... Геолог должен смотреть не только в глубь земли, но и на годы вперед. До Тюмени еще никто не добрался...

— Крестовый поход или набег? — поинтересовался Витька.

— Там — простор, а лишь на просторе, где никто тебя не затирает, можно создать себе биографию. Нужна тебе биография? — обратился он к Витьке.

— Разумеется, только биография геолога, а не флибустьера, — отрезал Витька.

— В-третьих, — не обращая внимания на Витьку, продолжает Николай, — мы проникаем в низовья Оби, в те места, где хлюпики в обморок падают. И пойдем мы на конях, вьюком и гужом; ну а вы парни деревенские и знаете, как со скотиной обращаться.

— Ну, конь не скотина, — протянул Петр.

— Это я фигурально, — отмахнулся Басков. — Короче, предлагаю дело новое, трудное, глубокое. Возможно, на всю жизнь. Парни вы здоровые, сильные, спортсмены, неглупые и честолюбивые. В геологии маленько разбираетесь, — зацепил он Витьку. — И последнее: я звонил декану, и тот согласился бросить вас на Тюмень.

— Как бросить? — удивился Витька. — У нас Камчатка!

— Была, — отрезал Николай. — Для вас готовится задание собрать для кафедры весь имеющийся фактический материал по Западной Сибири. Собрать и опубликовать в университетском издании. Всего доброго! — он поднялся.

— Нет, ты постой, — остановил его Витька. — Постой... что же ты делаешь, а? Ты зачем нас давишь, а?

— Полдня толкусь с вами, — Басков собрался уходить. — Предлагаю работать геологами. Геологами!

— А может, поедем, а? — загорелся Иван. — Правда ведь, Николай Владимирович, что геологами?

— Штат у меня не заполнен, — улыбнулся Басков. — Хочешь — геологом, хочешь — рабочим. Но главное — самостоятельность. Плуты-то нис-ты, — фыркнул он. — Гейзеры! Там начнутся ваши биографии! — И поднял руку, как памятник.

— Ну, что такое Тюмень? — разозлился Витька, видя, что мы сдаемся, никнем, предаем выношенную и созревшую мечту. — Ну ладно... три года назад там ударил газовый фонтан, открыто Березово, но природа газа никому не понятна — каковы там залежи, и вообще, есть ли в этой самой Тюмени нефть? Кто скажет?

— Ты! — ответил Басков. — Вот ты и должен сказать! — все-таки он что-то понимал в неискушенности душ.

— Почему я? — отшатнулся Витька. — Я совершенно равнодушен к делу, в которое не верю.

— В котором ты ни черта не смыслишь, — отрезал Басков.

Он просто грубиян: Витька кончил геологический техникум и три года работал в Каракумах, Петр два года провел в Усть-Урте, а я — в Ухте; у нас только Иван — «я с хутора, сирота я, мама работает на ферме, а за мною — пятеро»...

Басков вновь заиграл голосом, запел о том, что еще в начале века, в январе 1903 года Горный департамент установил подесятинную плату за разведку на нефть в пределах Тобольской губернии в размере двух рублей. Уже тогда в Приобье запахло нефтью, сквозь мерзлоту и болото потянуло открытием.

Широкое мясистое лицо светилось удивлением, голубовато-серые глаза как-то не подходили ему, Николаю Баскову, — массивному, громоздкому парню. Крупная голова вырастает из плеч — шея почти не угадывается. От него полыхало силой, она так и перла из него просторно и физически ощутимо. Но голос звучал нежно, словно не к парням пришел, а к девчонкам.

— В девятьсот третьем году, а?! На пороге века принялись столбовать участки, — сообщал Басков так радостно, словно сам их столбил. — Вот у меня есть выписка, выдана 22 сентября 1911 года — «дозволительное свидетельство товариществу «Пономаренко и К°»

на право производства в течение двух лет, считая со дня выдачи свидетельства, разведок нефти». Да! И далее, «упомянутая местность признается занятой, и другие промышленники не имеют права производить поиски и ставить столбы в указанном пространстве». Ну, как?

— Глубоко раньше писали, объемно, — отозвался Витька. — Но зачем ты в нашу жизнь внедряешься? Какого черта к декану полез? Откуда ты знаешь, что нужно мне или ему?

— Знаю! — отчеканил Басков. — Знаю и достигаю.

— Суешь какие-то бумажонки, а ты лучше спроси Казанкина, он нам читал этот курс... Казанкин утверждает, что нефть там искать бессмысленно. Те ищут, говорит он, кто поиск превратил в кормушку. Во глубине сибирских руд получают двойную зарплату, переползают изо дня в день в тиши и безмолвии.

— Ну-ка, идем к Казанкину, — поднялся Басков. — Не могу я поверить, если он хотя чуточку умный, что он мог такую ересь заявлять. Не верю! Он всего-то на три года раньше меня кончал, умник!

Леонид Максимович на кафедре нефти занимает высокое положение молодого ученого, успевшего издать четыре книги и два десятка работ. Главное, кафедра убеждена в том, что он — знаток Западной Сибири. Наверное, оттого, что у других просто руки не доходили; каждый грызет свою тему, тема — это жизнь, нельзя от нее уйти, нельзя убежать, а Казанкин даже ездил в Тюмень на две недели и писал о ней. В общем-то у нас, в Саратове, о Тюмени по-прежнему знают столько же, сколько о Марсе...

Мне не нравится Леонид Максимович, не испытываю к нему ни доверия, ни симпатии. Он какой-то откровенно круглый, окатаанный, и жесты его округлы,

и речь мягка, и аргументы всегда овальные, подозрительно законченные и исчерпывающие. И когда он низвергает, сокрушает чью-то идею, то делает это не жестко, не страстно, а как будто бы бьет подушкой. По-моему, талант не может быть круглым и гладким. Талант пульсирует горячей кровью, он пылок и нетерпелив в утверждении, отрицая, он создает. А Казанкин улыбается мягким, располневшим лицом, и глаза его не сверкают, а как бы плавают, и голос негромок для такого потучневшего, успевшего огрузнеть мужчины. Смотришь ему в спину — могучая такая, литая спина, и загривок мощный, а повернется он медленно так, корпусом, — добрейшая, благодушная улыбка и ни одной тебе морщинки на лице. Неуютно мне, когда передо мной гладкие, тугие от сока физиономии. Но это мое, личное. Весь факультет, и Светка в том числе, утверждают, что он хороший человек, но ведь хочется в нем еще и ученого видеть.

— Ты еще не созрел, — объясняла мне Светка в ответ на мои сомнения. — Казанкин не боится подняться на авторитеты... и создает свое мнение в геологии...

Светке легко живется, красивой, самоуверенной и переменчивой. Прошлый год она покинула меня, бросилась галопом за молодым пианистом, которому прочили мировую славу, но тот просто на глазах всех разочаровал, сгнил на корню. Потом она оккупировала физиков, двух друзей, долго выбирала из них, а те ходили за ней контуженные и завалили сессию. Светка была уверена, что я люблю ее, люблю навсегда. И неделю назад она как ни в чем не бывало подошла ко мне, распахнула темные глаза, приоткрыла губы и умоляюще попросила выслушать тайну, что наполняет ее. Оказывается, Казанкин напечатал ее реферат в университетском сборнике, взял еще одну статью и предложил работать по его теме — а этого будет достаточно, чтобы поступить в аспирантуру.

— Боюсь! — прошептала Светка, не спуская с меня взгляда. — Как ты скажешь, так и будет!

Я откровенно сказал, что обо всем этом думаю, но Светка, как и следовало ожидать, согласилась работать с Казанкиным — знакомая, накатанная дорога....

В кабинете у Казанкина копались в книгах Светка и Юрий, о чем-то тихо переговариваясь. Казанкин поздоровался дружелюбным рукопожатием, и не успели мы раскрыть рта, как он окружил непролазностью нейтральных светских вопросов: какова весна, каково солнце, трудно ли одолевается сессия, и сумеем ли мы сдать ее досрочно?

— Всегда пугает меня весна, не сплю по ночам, словно в бреду, — делился Казанкин, добродушно улыбаясь, — дрожь внутри — торопит что-то, не успею. Бросить к чертям кабинет и — в поле! Да, в поле!

— В пампасы! — клещом уцепился Витька. — За этим мы и пришли, Леонид Максимович! В пампасы!

— Так в чем же дело! — широко распахнулся Казанкин, раскинув руки. — У вас Камчатка... и попутного вам ветра, — улыбка делает его таким благожелательным, своим в доску. Но он сразу понял, что не случайно мы зашли, раз с нами Басков, только что вернувшийся из Тюмени; понял, что тот набросил на нас лассо и тащит совсем в другие пампасы.

— Рада тебя видеть, — шепнула мне Светка. — Устала до чертиков, сдаю досрочно... Ты зачем сюда?

— Леонид Максимович, — Басков покашлял в кулак, скребнул затылок и выпуклым глазом как-то упруго уперся в Казанкина, — один кардинальный вопрос, вопрос скорее для них, — он мотнул головой в нашу сторону. — Как вы сами, вот вы лично, положила руку на сердце, оцениваете перспективы Тюменской области?

— Много работы? — неожиданно спросил его Казанкин.

— У меня? Да, невпроворот, — ожил Николай. — Работы больше, чем геологов...

— Ты в производственной, организационной своей горячке так и не успел или не сумел разобраться, — заулыбался Леонид Максимович. — Ничего страшного, — он дружелюбно мягкой рукой похлопал Баскова по твердому плечу. — Знаешь, обилие мнений, восторженных прогнозов, всяких пророчеств — все это от торопливости, масштабности и в основном из-за отсутствия трезвой оценки геологической ситуации. Вот ты, Николай, не успел просмотреть труды нашего, своего же, так сказать, института и, не боюсь показаться нескромным, мою работу «Роль палеоклимата в прогнозировании нефтегазоносности». Я ведь там много говорю о районах, аналогичных Тюмени... Прежде всего необходим глобальный, региональный аспект...

Почему этот дебелый мужчина не разговаривает с нами по-взрослому, а лениво цедит, изрекает банальности и тем устанавливает дистанцию между собой и нами, зачем это ему?!

— Ты зачем сюда пришел, Женя? — потерлась щекой о мое плечо Светка. — Хочешь получить у Казанкина консультацию по Камчатке? Я еще не говорила тебе, что еду в Тюмень?

— И ты в Тюмень?!

— Почему ты поражаешься? — тихонько засмеялась Светка. — Институт нефти при университете оформил меня геологом, и я еду не столько на практику, сколько в длительную командировку.

— Геологом?

— Геологом, господи! Мне просто смешно, у тебя такой нелепый, обалделый вид. Еду собирать материал для кафедры, для темы, в конце концов для диплома, ясно тебе?

А Казанкин тем временем развивает свои взгляды на геологию. Как подлинный исследователь, он не по-

боялся нырнуть к истокам жизни, к теплому бульону древних океанов, перенасыщенных аминокислотами, солями, щелочами, гелями и золями, из которых нарождался белок, приобретал движение и обмен и превращался в буро-зеленые водоросли, чтобы дать потом ветви растительного и животного царства. Все это цвело, распускалось, заселяло океаны и моря, прозревало, приобретало слух и рефлексy, появились животные, и выросли у них лапы и хвосты, и они полезли на сушу, и заполнили воздух, и от века к веку, от моря к морю, наступающему на сушу, увеличивалась биомасса, погибала, захоронялась в илах, превращалась или в уголь, или в нефть. Но были времена, когда суша господствовала над морем или рождались горы, а на земле менялись полюса, и все шло кувырком, шиворот-навыворот, и тогда все живое или гибло, или влачило убогое существование...

Иван и Юрка смотрят на Казанкина, широко открыв глаза, принимая все как откровение, и так же внимательно слушает Светка. Но Светка не слишком умна, хотя я люблю ее — дремучую и непонятную мне Светку, но разве умом мы измеряем живое и непонятное.

— От эры к эре, от этапа к этапу менялся климат нашей планеты, — покойным голосом напевает Леонид Максимович, сцепив руки на животе. — Менялся от космических причин, ибо перемещалась ось Земли. Но если меняется климат, меняется и рельеф, и ландшафт. Сегодня простирается оголенная Сахара, а завтра там Магадан, а послезавтра уже Гималаи. Короче, — он подошел к карте и твердой рукой разрезал земной шар, проведя границу по шестидесятому градусу северной широты, — на юге нефть и газ, на севере — пустота. Березовский газ — исключение, локальное явление, оазис.

Баскова избивали на глазах, избивали вежливо и

мирно, как пьют чай вприкуску у самовара, дую в блюдечко, по-домашнему так, не торопясь. Леонид Максимович не попытался даже навязывать бой и не задирался, он считал проблему решенной, и ему стало скучно с нами. И едва уловимый упрек зазвучал в мягких интонациях его голоса: «Я на вас не обижаюсь, нет-нет, сил у меня нет на вас обидеться, но все-таки неприлично, бестактно, да, невоспитанно заявиться ко мне, не прочитав работы о палеоклимате».

— Ты слышишь меня? — шепчет Светка. — Он будет моим руководителем диплома и темы...

— А что, вопрос с аспирантурой уже решен? Ты же еще диплом не защитила, Светка!

— Но ведь все готовится заранее, Женя! — распахнула глаза Светка. — Отбираются кандидатуры, обсуждаются, в конце концов не берут же первого попавшего. А ты тоже в Тюмень? — настороженно и затаенно спросила она.

Я промолчал и прислушался. Казанкин, не отходя от карты, отчетливо и сурово заявил, что искать нефть и газ севернее шестидесятой параллели — блеф и авантюра.

— А почему? — спросил он и ответил, убеждая самого себя: — Потому, что в те времена климат-то был совсем не таким, каким он должен быть для производства той биомассы, что превращается в нефть.

И чем больше он разглагольствует, тем больше мне хочется думать наоборот. В конце концов все это слова, пустые слова... Жизнь часто бушует там, где ее не ожидают, ведь формы жизни первых периодов Земли нам еще непонятны — нет еще сил охватить ее человеческими измерениями. И кто знает, может быть, рождение нефти связано не с органикой, что создает теплый, влажный климат, а с магмой, с раскаленным чревом земли, и рождается она при тех же процессах, что олово, серебро или титан? Кто знает наверняка?

А Светка, положив мне руку на плечо, шепчет: «Очнись, ты слышишь, что он говорит?»

Казанкин еще раз проникновенно взгляделся в Мировой Океан, скользнул рассеянно по Сибири и, что-то уловив в себе, заявил:

— Ничего, ребята, не волнуйтесь. Полтора-два десятка опорных скважин на полтора миллиона квадратных километров тайги, тундры, болот — это же мизер. Геологию все равно нужно изучать планомерно, а мы ведь изучаем и заведомо бесперспективные земли, чтобы иметь аналогию — модель «пустых земель». Езжайте хотя бы для этого. Доказательства отрицательного результата требуют в десять раз больше эрудиции, принципиальности, ума, таланта, нежели бодренькое пустознайство — есть там нефть, и все! А мы от института посылаем в Тюмень Светлану Селезневу. Доброго пути!..

— А ведь он убедил меня! — разгорячился Витька, натываясь на прохожих. — Убедил! Своей безапелляционностью, категоричностью! Самодовольством! Он не загорается, нет, не горячится — уже узаконил, декретировал свою гипотезу. Шестидесятую параллель, ну обалдеть можно! Книгу свою подарил и не боится. В Тюмень! — кричит Витька. — В тай-гу-у!

С Волги доносятся гудки пароходов, в городском саду распускаются каштаны, пахнет сиренью и тонко пробивается ландыш. Мы отложили Камчатку на будущее, бросили за спину рюкзаки и в середине мая отправились в Тюмень.

Ранним утром прибыли к небольшому зачуханному вокзалу, который сразу насторожил — город маленький, захолустный, замкнутый. Из вагонов вылезло с десятков пассажиров, не больше. Откуда-то возник Басков в гремящем брезентовом плаще: ночью поливал дождь.

Плащ чуть ли не волочился по перрону, и Басков путался в полах, словно невыспавшийся сторож.

— Вы чего, а? — зашумел он. — Где застряли, второй день бегая встречать, а в экспедиции ждут.

— Сейчас доберемся, — бодро отвечал Петр. — Прохладененко у вас тут, в Сибири...

— Да это еще, можно сказать, не Сибирь, — улыбнулся Басков.

— А что же? — Мы оглянулись вокруг себя, посмотрели под ноги — деревянные тротуары в лужах, над нами высоченное небо, в холодной черноте клумбы робость цветов да тополя, березы только что приоделись в листву.

— Сибирь-то там, — махнул на северо-восток Николай. — А это юг, Зауралье всего лишь. Широта Свердловска... Селезнева позавчера прибыла. Устроилась в тресте.

— На автобусе, что ли, поедем? — поинтересовался Иван. — Или пешком?

— До пристани можно пешком, чтобы город посмотреть, — ответил Николай.

— В экспедицию катер, что ли, ходит, а? Долго ли добираться?

— В нашу-то? — смеется Басков. — Или я не говорил?

— Что говорил?

— Только пароходом, и только третьим классом. — Он посмотрел на нас и снова засмеялся, легко так, покойно. Не понятно нам, почему пароходом, да третьим классом? — Так в Бере-зо-во же экспедиция! Там и база нашей конторы. Отсюда как раз тысяча триста двадцать километров.

— Тысяча триста двадцать?!

— Точно. И все водой. Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет. Пятеро суток, если все благополучно.

— Так вы, Николай Владимирович, говорили, что будем работать в Тюмени на поисках нефти?

— Вот мы и будем искать. Геологической съемкой, картированием, составлением карт. Поплывем, по дороге все расскажу.

— Ясно, — пробасил Петр. — Ясно, что дело темное. О Березово впервые слышим. Проездные и билеты нам, между прочим, только до Тюмени выдали...

— Насчет этого не беспокойтесь. А о Березово не говорил потому, что неясно было, возьмут ли вас всех в одну партию. Сейчас выяснилось: берут. Ну, пошли.

— В одной партии мы не наберем материала для поддюжины дипломов, — изрек Юрий. — Нам ведь важен диплом, остальное — ерунда.

— Ну и занудистые вы, парни, — нахмурился Басков. — Будет вам и белка, будет и свисток. Пошли!

И мы тронулись, не спеша и озираясь, от вокзала к пристани, сквозь тихий просыпающийся город Тюмень. Пересекли мост через глубокий овраг, по дну которого пробирался ручеек какой-то дряни, химический, что ли, завод выпускал наружу отходы, и, шлепая по грязи и обходя лужи, вышли к драмтеатру. Первомайская вывела нас к центральной улице Республики, покрытой асфальтом. Как раз в конце ее поднималось и разгоралось солнце, заливая двухэтажные домики, фанерные киоски, редких прохожих и монастырь на другом, западном конце. Заиграло солнце в лужицах, которые рассекали тюменцы в броднях и тюменчанки в резиновых сапогах, старые татарки в красных хромовых сапожках, обутых в галоши. Улица Республики словно упирается в солнце. Пролегла она ровненько с востока на запад, движутся по ней городские автобусы, измазанные по маковку районные газики, и грузовики гремят по центральной улице — везут кирпичи да доски, а вот зацокали подковы, из-за угла показался воз с клетками, а в клетках гуси, за гусями проплыл воз с

сеном, тащил тот за собой упирающуюся корову, хрипло облаивала ее мокрохвостая собачонка. Мы прошли мимо двухэтажного универмага, тот молчаливо смотрел розовыми ночными рубашками, кожаными кепками, плюшевыми жакетами, суконными брюками и алюминиевой посудой, потом направо от нас потянулся серый забор с выбитыми досками. За ним клочкотал базар, то ли рынок, то ли барахолка, там мычала скотина, квохтали куры, пахло пельменями, из павильона вышел тюменец с четырьмя кружками пива, за ним, потягиваясь, брела лайка. Напротив базара пустырь, но там что-то копали, грудились стройматериалы. Мы пересекли его и узенькими улочками стали спускаться к пристани.

Рядом с деревянным особняком, украшенным кружевом резьбы, железным флюгером и вычурной печной трубой, притулилась, осев в землю по самые окна, ветхая развалюха и глядится уже не домом, а землянкой, вслед за ней домишко-ухарь с крышей набекрень. И снова особнячок, и балкон его вроде деревянного фонаря подпирают толстенные стояки. Ставни в домах закрыты наглухо, и ворота закрыты — не совсем проснулась еще Тюмень, дремлет, потягивается.

Принять или не принять город можно сразу, все зависит от твоего настроения — зачем ты сюда приехал, что ты ждешь от этого города, думаешь ли в нем обосноваться, каким ты его воображал. Но ведь и у города есть настроение — утром он глядится не так, как вечером, при солнце в мае или в октябре под дождем, в январские будни или в ноябрьские праздники, — есть у города настроение, если есть у него душа. А душа таится в каждом городе, если он не умирает или не собирается зачахнуть и захиреть. Но Тюмень казалась нам немного странной — зеленые мягкие улицы, словно совершенно не тронутые колесами машин, куры вон гребутся, и у каждого домика огород — грядки, а

на задах сараюшки поднимаются, дровяники, вон сена коленка видна, корова мыкнула, тетка из колонки воду на коромысле понесла. Нет, конечно, город не узнаешь, если только пробежишься по закоулкам...

Спустились к пристани. Вот здесь народу больше, плотно, густо двигается сюда народ с узлами, мешками и чемоданами.

— Едва билеты достал, — сообщает нам Басков. — Через горком, а так не достать. В первый рейс уходим... вон он, наш «Усиевич».

— Когда уходим?

— Да сегодня к вечеру отчаливаем. Вещи сдадим в камеру, а сами в город тронемся. Здесь в тресте полно наших. Познакомимся, поговорим. Идет?

Камера забита, вещи не берут. И не собираются брать. Басков поторкался, повертелся, снял плащ, на человека стал походить, ткнулся в одну дверь, в другую, из третьей вышел с бумажкой: «Идем!» По бумажке пустили на пароход, поднялись мы в первый класс — там у начальника двухместная каюта. Сбросили вещи, по очереди умылись, галстуки завязали — готовились нанести визит землякам.

— Куснуть бы чего? — проговорил Витька. — К примеру, порций пять пельменей, а? В Тюмени, я слышал, только пельменями кормят?

Ну и базар, прямо посреди города — торжок. Вдоль забора десятка полтора пельменных и пивных, а пельмени хороши — сочные, вкусные, не как в Саратове. Жмешь на пельмени, а вокруг тебя базар — товар, деньги, товар. Всем торгуют, даже не подумаешь, что такое продается-покупается: и гвозди ржавые, и замки амбарные, и кожи, и шапки теплые, и кадушки, кролики, провода и черепица — чего только нет. Люблю бродить по базару просто так, не купишь ничего, но нагядишься досыта.

Басков мгновенно проглотил свои порции, опрокинул в себя пиво, заказал еще — холодного, свежего, пенистого. На него было приятно смотреть: он приподнимал кружку, слегка откидывал голову, и пиво обрушивалось в рот пенным, темным потоком, бурлило водопадом и вливалось, он не сосал его, не втягивал — как-то поглощал и от удовольствия кричал.

С базара мы выбрались, когда солнце приподнялось над городом, осветило его, и улицы, умытые полуночным дождем, и деревья в выстиранной листве — все как-то подобрело, приблизилось, потеряло ту настороженность, что несет в себе незнакомое. Где находится геологический трест, нам никто не сумел толком объяснить, но заборы были оклеены объявлениями, и среди них мы отыскивали адрес, хотя и не имели никакого представления, как туда добраться. Басков тоже не знал, хотя один раз побывал в тресте, но его везли на машине, и он не помнил, по каким улицам.

— Идите до кладбища, там найдете! — махнул рукой один из прохожих. И мы двинулись к такому заметному ориентиру, возле которого действительно увидели двухэтажные домики — трест.

Еще в Саратове мы наслышались о главном геологе треста Леониде Ивановиче, и представлял я его почему-то огромным, громобойным парнем с широкой улыбкой, а нам улыбался чуть грустно невысокий, плотный, уже начинающий полнеть сероглазый геолог, такой обыденный, в небольшом своем кабинете, забитом картами, схемами и кусками керна. За его спиной на стене геологическая карта в синих и желтых пятнах с пунктирными линиями границ, что проведены чуть-чуть, словно тропинка, — первый след. Карта сама говорила, что работы идут на ощупь, нешироким фронтом, короткими перебежками, на прерывистом дыхании и огромная изменчивость остается белым пятном, таинственным и неожиданным. Я всегда волнуясь,

когда читаю геологическую карту, словно издалека, из далеких-далеких глубин проявляется физиономия района, его древний лик, и порой он страшен и дик в своей пустынности и заброшенности, ужасен в гуле вулканов, когда извержения стирают следы прежних эпох, и тогда геологическая биография обрывочна, звучит косноязычно, словно бормотание глухонемого.

Леонид Иванович перехватил мой взгляд и сам взгляделся в карту, будто увидел впервые.

— Нравится?

— Прыжки какие-то, — ответил я. — Нервная карта...

— Нервная, — засмеялся Леонид Иванович. — Это она с испугу. Видишь, какой район — почти десятая часть Союза. На нее тысяч пятьдесят работников напустить да сотни миллионов рублей. А сейчас карта, как Золушка... Ну как там Саратов?

Когда встречаешься с земляками, всегда задаются одни и те же вопросы — как там, стоит ли каштан в Липках, не уползла ли в Волгу набережная, не цепляет ли трамвай за угол общежития на Цыганской, кто сейчас деканом?

— Декан-то кто? — нетерпеливо спрашивает Леонид Иванович. И получив ответ, вспоминает своего декана Кирилла Владимировича, о нем до сих пор с курса на курс передают легенды.

— Раз ковырял Кирилл Владимирович карниз в карьере, кораллы там искали и морских ежей, на него сверху и рухнуло куба два песка. Оглянулись — нет декана! Главное, не крикнул! Ну, думаем, замечтался он и в овраг спустился — там великолепные белемниты — «чертовы пальцы» из стенок торчат. Сбегали в овраг — нет его! Полчаса прошло, вернулись на старое место, смотрим — очки. Ну потом самого извлекли. А он первым делом: «Где зуб?» — «Какой зуб?» — Мы

же видим: у него все зубы целы. — «Акулий зуб! Кархарадон!» — кричит на нас, отобрал очки, одел и принялся руками разгребать. Полкарьера перелопатили — не нашли.

«Тоже мне геологи», — презрительно так говорит, жалко ему до смерти акулий зуб, редкость же. А потом видим: он у него в кармане скалится. Перед тем как на него обрушилось, он каким-то образом успел зуб в карман затолкать...

— Его прошлый год, Леонид Иванович, Евгений завел, — Юрка кивнул в мою сторону. Он ужасно любит рассказывать про друзей какие-нибудь пакости — это его хобби. И дождется когда-нибудь за свой фольклор, точно дождется... — Раскопали они с Виктором в овраге лошадиную лопатку, точнее ногу лошадиную, отчленили лопатку и облили ее кислотой, потом дня три-четыре держали в известке.

Басков, слушая Юрку, хохотнул, а тот скромненько, вроде бы застенчиво опустил глаза.

— Ну, вытащили из известки, опустили в щелочь, а потом засунули в костер. — Тут Леонид Иванович принялся улыбаться, а этот пижон и рад стараться. — Засунули в костер, подкоптили маленько, а кость уже по-древнему, ископаемо так трещинками пошла, и каждая трещинка солями — новообразованиями — выполнена, и вид у нее, естественно, допотопный. Кирилл Владимирович давно на Евгения ставку делал, все в свою палеонтологическую партию тянул, любит Женька с костями и ракушками возиться. Увидел он кость и замер. — Юрка вытянул шею, сжал плечи, прижал локти к груди и рот открыл. — Вот так рот открыл и молвит: «Где взял?» — «В мезозое!» — Женька отрубил, не глядя. «Есть там еще? — Вы бы только слышали сколько мольбы и надежды! — Где то место?» — «В Глебучевом овраге!» — Женька-то честно говорит, откуда кость при-волол. «Дашь?» — Кирилл Владимирович спрашивает

и руку к кости тянет, а та вся в пузырях, в натеках, элегантная такая мистификация...

Леонид Иванович тоже шею вытянул, затаил дыхание.

«Дашь или не дашь?» — шепотом спрашивает. «Не дам! — отвечает. — Определять сам буду!» — «Сумеешь? — Кирилл Владимирович руку тянет, а Женька кость за спину прячет. — Не хватит у тебя силенок, понял!» — «На кость-то, на лошадиную?» — Женька на него смотрит и по-честному же говорит: «Плевать, кость-то лошадиная!» — «А вовсе она не лошадиная; странная, значит, та лошадь была, и тем более я ею должен заняться, а не ты. Дашь?!» — как рывкнет. «Не дам! Сам нашел, из целого скелета вытащил, а теперь отдай?!» — «Ага, проболтался! — прямо к потолку подпрыгнул Кирилл Владимирович. — Там и скелет, значит?» — «Значит, и скелет!» — «Продай! — взмолился Кирилл Владимирович. — Продай, век тебя не забуду!»

— Он уж точно не забудет, — смеется Леонид Иванович. — Сколько студентов включал в соавторы! А ты, Евгений, упомянут?

«Юрке морду набью», — решил я. Противно, когда незнакомому человеку, пусть даже земляку, всякую чешую про тебя треплют. Да и не только в этом дело. Я заметил еще прошлый год на практике, что Юрка старается всегда отираться поближе к начальству. Вопросы дурацкие свои задает, озабоченно поддакивает, сочувствует, вот что противно, словно он вместе с этим главным лямку тянет. На другой же день знает, как кого зовут по имени-отчеству, сколько детей и чем те хворают, да какие проблемы и тяготы у экспедиции. Говорит голосом утешителя, проникновенный, искренний такой голос, а сам дома в булочную не сходит и посуду не помоеет...

— Так ты, Евгений, упомянут? — смеясь, спрашивает Леонид Иванович.

— За упокой! — влез Иван, тот тоже за Юркой тянется.

— Так вот он, Леонид Иванович, — продолжает Юрка, раздумываясь, а голову гордо держит, профилем чеканным повернулся, чтобы главный запомнил римский его, волевой профиль, — продай, говорит, век тебя не забуду, а Евгений ему: «Продавать неудобно. Стыдно мне с вас деньги брать!» — «Говори, сколько? — задышал профессор. — Ну?» — «А сколько вы думаете?» — «На», — сунул он ему деньги, схватил кость и убежал. Женька разжал руку, там пятьдесят рублей. Побежал, отнес Антонову: отдай, мол, ему, когда определит. Четыре дня раскланивался с ним Кирилл Владимирович, жал ручку, справлялся о здоровье. А на пятый сказал:

— Больше я у вас ничего не куплю! Никогда и ничего! Это обыкновенная современная лошадь!

— Ведь определил! — восторгается Иван. — Вот специалист: четыре дня бился и определил!

И опять разговор растекается: как тот, как другой? Леонид Иванович очень рад видеть земляков с Волги.

— Леонид Иванович, — кашлянул в кулак Иван, отбросил назад волосы. — Я сам, да и все мы, — он оглянулся на нас, заполнивших тесный кабинетик, — все мы оказались в несколько, можно сказать, зыбкой ситуации. Николай Владимирович, — он кивнул в сторону Баскова, а у того раскалилось лицо, — увлек нас чересчур заманчивыми перспективами. Но Казанкин, вообще, стерилизует измененность, ваша карта тоже пока молчит...

— Кто молчит? — поморщился главный геолог.

— Мне лично важно знать, Леонид Иванович, — Иван упрямо уставился в стену, уперся в геологическую карту. — Даст ли нам Западно-Сибирская измененность достаточно материала для диплома? — Леонид Иванович нетерпеливо шевельнулся, зябко повел пле-

чами. — Даст или проведем здесь время вхолостую, вытаским пустой бредень?..

— Хватит ли для диплома? — поднялся Леонид Иванович. — Ну, знаете ли, это уже не смешно. Тут вчера ваша Селезнева тоже все пугалась, что мало изучено... Мне на вас неудобно смотреть, честное слово. У нас пятеро кандидатские подготовили к защите. Вот-вот появятся свои доктора наук. Диплом? — фыркнул он. — Да здесь новый материк, новая нефтегазоносная провинция.

И Леонид Иванович коротко, скупно и так емко набросал выпуклую картину тюменской земли, ее геологии, перспектив, что она зримо надвинулась на нас, поглотила и заставила задрожать в нетерпении.

Особенно жадно слушали мы рассказ Леонида Ивановича о могучем газовом фонтане, что ударил на окраине Березово за три года до нашего приезда.

Многих маловеров нокаутировал Березовский фонтан, многих щелкнул, сбил с позиции, многие сменили мнения и подняли газовый факел, словно марафонцы, — «нас, мол, не видно было, но мы бежали по пустырям и ветроломам к этому финишу». Радостный то был фонтан, родился младень-богатырь в такой мерзлой дикой целине, да как ревет! Счастливым был тот фонтан, хотя и аварийный: не ждали его. А главное, был факт, факт нефтегазоносности северных широт, он окрылил всех, кто верил в сибирскую нефть, ибо был зрим, слышим, осязаем.

И вот мы едем туда, в Березово!

Глава 2

Мы едва прорвались на свой пароход «Усиевич».

Капитан, крепкотелый татарин, молодой речной волк, вышел на мостик и, поправив усы, рывкнул в мегафон:

— Объявляю посадку. Подходите по одному! Спокойно предъявляйте билет! Зайцев выкину, обещаю всенародно! И чтоб порядок! — спустился капитан с мостика.

На дебаркадере гаркнули «ура» и лавиной хлынули на штурм. То была самая натуральная психическая атака, она рождалась нетерпением и управлялась страхом не оказаться на пароходе. Матросиков снесли первые ряды, второй вал уже прокатывался по брошенным мешкам, перевернутым многореберным ящикам и давленной картошке. У чемоданов отлетали ручки, у рюкзаков рвались ремни, лопались пуговицы, а сзади напирала сибирская сила, настолько могучая и неслабеющая, что людей выдавливало на верхнюю палубу или в трюм. Никто не стонал, не вопил, хотя расплющивали в камбалу, а все только кричали, пыхтели, стараясь удержаться на ногах в обнимку со своим мешком, да еще покрикивали: «Давай, давай, раззява, чего раскорячился, колода, коряга уватская!»

— Руку отдавай, ну чего ты, носом мне в глаза клюешь, а? Убери свой клюв.

— Клюв?! — поражается горбоносый дядька. — Ну, ты погодь! Погодь, как усядемся, я тебя умою.

— Человек за бортом! Пал человек! — кто-то тоненько по-бабьи вскрикнул.

— Не кричи, — басит рыжий парень. — То баул упал, не утопнет, не бойсь, барахло там...

— А ну поддай, поддай — спереди!

— Мне в первый... в первый мне класс, товарищи, а вы меня в трюм увлекаете.

— Ты в трюм попади, а потом в первый всплывешь...

Покачивается старая калоша, колесник «Усиевич», столетний пароход. Стонет, поскрипывает, вздрагивает гулко, но широкий он, устойчивый и, как плот, медлительный — не перевернется, если и постарайшься. Бас-

ков плечом раскидывает встречный поток, мы вежливо продираемся за ним в кильватер, но никакого третьего класса нам не досталось. Третий класс потонул, сгинул, закрылся человеческими телами, то был не класс, а развороченный муравейник. Узкими проходами пытались пробраться на корму — наткнулись на запруду. Откинулись назад, рубашки прилипли к спинам, оглохли, ничего не слышно в гуле толпы.

— Стой! — кричит Витька. — Клетка.

Точно — в стороне клетка, как в зоопарке, львиная клетка с прутьями в дюйм толщиной. висит замок, а внутри клетки пусто, в уголке брошен куль полосатый, словно в тельняшке.

— Рвани, Женя!

Я попробовал замок, тронул, и тот неожиданно открылся.

— Давай, наше место!

— Ну и прекрасно! — обрадовался Басков. — На пол постелить спальные, вполне комфортабельно. Но даже если и гнать примутся, все равно не уходите.

Чудак он, Басков, да как же мы из такой клетки уйдем? Без боя не отдадим. Горбоносый дядька увидел нас в клетке и от зависти зашелся.

— Замок свернули, а? — прямо окрысился, когда увидел, как мы телогрейки на железном полу расстилаем. В клетке пол железный, клепаный и несколько болтов торчат. — Вы зачем башку замку свернули?

— У тебя документ есть? — спрашиваю дядьку.

— Какой документ? — встревожился тот.

— Билет есть у тебя? — напирая на него.

— Так бы и сказал сразу, что в клетку по билету, — буркнул горбоносый и поволок за собой чемодан, а тот бил острым углом по голенищу.

— Шикарно устроились! — Иван вытащил из рюкзака телогрейку, занял место у стены, там проходила широкая жестяная труба.

Три раза хрипло и как-то обреченно прокричал парход, задрожал, как паралитик, дернулся и потихоньку зашлепал плечами по мутной, переполненной Туре, из трубы мохнато вырывался дым — набирал пары обский Россинант. Неважно, лишь бы дотащил нас до Березово.

— У него, поди, вся грудь в ракушках, — смеется Витька. — Давно колесника не встречал. Их же списать должны, а?

«Россинант» похрипывал и скрипел, глубоко в трюме работала машина, скорее всего современница Ползунова, мелко-мелко дрожал железный пол, но бесконечная эта вибрация успокаивала. Люди на мешках, ящиках в проходах мало-помалу притерлись, угомонились и вот уже потянулись с кружками, фляжками к бачку — за кипятком. А вскоре и буфет открылся, музыка бурная вскипает над палубой, и срывает ее ветер, относит к Тюмени. Толкаются люди, двигаются осторожно, поднимая высоко ноги, но как ни берегутся, наступят на задремавшего пассажира...

— А прошлый год... ну, да... об эту пору, — бубнит кто-то. — На этом же «Усиевиче» добирался до Малыма и наступили мне на рожу. Слегка так. Пошел умываться, публика встречная ухмыляется и глядит в меня, как на чуду. В зеркало уставился — мать ты моя женщина! — так галошина рубчиками, подошвой своей и нарисовалась. Ну, печать тебе и печать. Крупный, видать, мужчина проходил, парни определили, что галошина сорок третьего номера.

— Не чуял, что ль, а? — выдохнул басок. — Как ты спать-то уважаешь, Егор? Морду тебе как помидорину дают, а ты и очи не откроешь — ну, куды так спать, просто непостижимо!

— Завсегда так усыпляюсь! — бодро ответил из угла Егор. — Ну, теснота. Едет... едет разный люд... чего ищут, чего потеряли, не знают...

— Год от году все прибывают, — поддержал его басок. — То дичь в борах да рыба в реках иссякают, али лес пожаром смахнет, а люди... всех мастей и разных кровей — все сюда... нашествием. Теснятся там в городах, грудятся, там не распросторничаешь — от девяти до шести носи службу и получай жалованье.

— А у нас иной закон? Тоже принялись поджимать: на реке — рыбнадзор, в тайге — егерь, — налился обидой третий голос. — Позапрошлые годы что? Лодка у меня — бударка, шестисилка, и она кормит меня, поит. Весной до путины бревна сплавляю — плоты вон как бьет, сколько безнадзорного леса плавится, и чей он, скажи? Ничей... его и ловим, срубы ставим или на доску гоним, на дрова. А прошлый год какая мода пошла: ловишь — лови, но сдай в гортоп, за денежку, конечно... Да какая там денежка — куб дров пиленых, колотых отдаем за шестьдесят пять, а я кубов до сотни полторы налавливал. Другие спят али баланду травят, а я после работы за этим бревном охочусь — где справедливость, и зачем в гортоп?

— Много, много народностей сорвалось со своих земель, — раздается басок, — Украина и Белорусь, и казах едет, и татаре...

Тихо покачивается пароход, урчит машина, гремит музыка. Поднимаюсь на палубу, там свежо, просторно, река выплыла из берегов, затопила луга и покрыла пашни, огороды — спит солнцем река. А у борта толкается «вербовка» — их человек двести, и чем-то они похожи друг на друга — не одеждой, нет, а каким-то присматривающимся, прицеливающимся взглядом, в котором настороженность, недоверие и опыт, опыт бродяги-путешественника. Перекликается меж собой «вербовка» на своем жаргоне — кто брит, кто лохмат, но с перебитым носом, а третий голубоглаз, но впалая грудь, а у пятого грудь, как корыто, да глаз кривой. И они разбились на стайки, на группки, на компании. И в

каждой из них — ядро: бывалый парняга, успевший сходить и в низовья Енисея и Оби, в Заполярье, и побывавший на лесосплаве или у геологов, а вокруг бывалого — ядра — на коротеньких орбитах кружат но-вички, кружат, как бабочки-однодневки вокруг фонаря, а фонарь — ядро — кружит над ними, туманит головы.

— Тура, что ли, река? Куда втекает?

— Втекает она в Тобол, а тот в Иртыш...

— Иртыш, поди, уж в Сибири, а? Тура воп как вспучилась, ярит на берег... смотри... смотри... халява, дом свалила. А вот, гляди, смехота!

У самого берега высятся огромные двухсаженные ворота, а вокруг них на цепи плавают дом. В окнах колыгаются розовые занавески, а к коньку крепко-накрепко прибит скворечник, и на ветке скворец перышки чистит. Почистил и принялся горлышко про-бовать, только за шумом реки не слышно птичьей песни. Но у скворца и здесь такая же песня, как и на Волге.

— Двадцать второе мая сегодня, а здесь солнце чуток к земле притронулось. Трава-то ползет, вон как хлещет, а дерево голое.

— Сибирь! — отвечают ему. — Вон погоди, в Запо-лярье снег еще сугробится, по оврагам затаился, гад, до самой осени. Там, ребята, иногда в июле снег валит прямо на цветики-цветочки, мороза нет, а снег шпарит — околеть запросто можно...

А Тура ширится, топит берега, изгибается в широ-кие дуги, почти в кольцо и, прорывая его, оставляет тихую гладкую старицу. На корме парохода задумчиво жуют жвачку два быка и пестрая пугливая коровенка, рядом в клетке сонно похрюкивает свинья, а в ящиках вскрикивают куры, гоготнул гусь, взбрехнула соба-чонка. Ноев ковчег наш пароход, трудяга. Так мы и плывем-плавимся вначале по Туре, потом по Тоболу, на Иртыше нас слегка покачало, а на Оби разыграл-

ся шторм. Нас вдруг обо что-то ударило, садануло наотмашь бортом. Но все крепко спали, и никого из пассажиров не беспокоил крик и гвалт команды, только с рассветом мы увидели себя в лесу. Прямо в лесу на полянке, среди огромных ветел и елей, и теснились они вокруг парохода, царапали ветками о палубу и дотрагивались мягкими лапами до иллюминаторов. Шторм загнал нас в тайгу. Весной Обь раскидывается в своей долине на двадцать-тридцать километров, а летом то, что было рекой, вновь станет лугами, полянами, протоками, устьями рек и речушек.

Прошли мы мимо древних городов и крепостей, крохотных поселков и чем дальше и глубже входили в Север, тем выше поднималось солнце, и почти не оставалось времени для ночи, а вскоре она и совсем исчезла. Над Обью, над тайгой тихо покоилась Белая Ночь, и я впервые почувствовал, что это Север, да, Север в незаходящем солнце, недосыгаемо высоком, почти прозрачном небе, и это небо вбирает в себя все: потемневшие от зим срубы домов, изгороди вокруг деревенок и смоляно-черные лодки, что отдыхают на белом песке, и развешанные, словно уставшие, сети, и легкую дымку, что стелется над разбухшим болотом, и крик чаек над заросшими островами, тихие заводи проток, и утренние сырые туманы, что путаются и затихают в тальниках, и внезапно возникающий ветер, что врывается в сосняк и погудывает там, раскачивая стволы. Нет, я совсем не знаю Сибири и долго ее не узнаю не потому, что она велика, вовсе нет, просто здесь у людей другая осанка и твердая неторопливая походка, лица их покойны и дружелюбны, не суетятся они потому, что уверены в себе. Я еще не встретился с коренным до мозга сибиряком, мне так хотелось побыть с ним наедине, у старицы или у задремавшего озера, у костра после охоты или рыбалки, просто посмотреть, как он двигается, держит ружье или топор, весло или

ложку. Бабка моя говорила, что она из Сибири, из-за Урала, а я никак не мог понять ее голодной тоски, того, что она до последних дней рвалась сюда, а почему? Она рассказывала мне, что Сибирь жестка, что она темна в самый светлый день, корява и молчалива, но она и добра, даже не добра, а щедра, и душа ее глубока и бездонна и никому не известна, что она оберегает в себе все русское, но не в кондовых избах из неохватных бревен и не в медвежьей охоте и в деревянной, рубленной утвари то русское — нет! Моя темная бабка понимала начало начал — неистовую, языческую жажду земли, единоборства с нею, и эта жажда стоила и пота, и крови, и самой жизни, и была сладостна и горяча, ибо она созидаема. Я уже по-другому привыкаю к земле, и для меня она рождает хлеб и то, что должно охранять хлеб, — руды и нефть, топливо и камень, и во мне тоже разгорается неистовая жажда земли, только другой — не пахотной, а горной, подземельной, горячей и нутряной. Я знаю: то, что мы находим — мы отнимаем и никогда, никогда уже не возвращаем. Но от этого нам не грустно, это наша планета — дом, она нас породила, и мы должны сами сохранять себя. Только брать надо бережно и с умом, не выдирая, не разрывая на куски...

Уже прошли Ханты-Мансийск, прошли Малый Атыл, Большой Атыл, река все ширится, раздвигает долину. Басков, улыбаясь, вглядывается в сорокаметровые обрывы, заглядывает в блокнотик, ставит значки.

— Наш район начался, — объясняет он, — не поняли? Здесь мы начнем работать. Видал — места, высокие, до двухсот метров и повыше. Здесь и начнем искать поднятие.

— Но поднятие может оказаться пустым — без газа! — вступил Юрка.

Басков объясняет нам свою методику поисков: тщательный осмотр всех обнажений, геологические маршруты и ручное бурение.

— Посмотрим! — грозитя он кому-то. — Посмотрим, как забывать геологическую съемку.

— Круговерть! — решил Витька. — Каждый здесь мастер-самородок. Как в широком поле витязи собираются — кто силой бьет, кто умом, кто красотой да хитростью; силу свою тешат, а что дальше, когда настоящие дела подспевают?

Глава 3

От самой Тюмени до Березово нас заливало светом. Днем и ночью. Прошли мы через два дождя да несколько туч. В Березово прибыли утром, в разгорающееся солнце. Сам поселок нисколько не напоминал грозный казацкий острожек, и когда месили по нему оттаявшую глину, то нигде не увидели ни вала, ни тына — просто небольшой поселок, по статусу даже не рабочий.

Мы пробирались окраинными улочками вдоль берега реки, спускались в овраги, падали на скользких крутых склонах и, наконец, дотащились до базы экспедиции. Она раскинулась на бугорке за тремя буераками. С северо-запада протекает река Вогулка, с юго-востока — Северная Сосьва, а Вайсова протока шириной в полтора километра соединяет поселок с Обью, до которой всего восемнадцать километров. Завязались здесь реки в крепкий гидрологический узел.

В экспедиции три вместительных дома, четыре маленьких и три сарая-склада. В одном из домов, оклеенном от завалинки до крыши плакатами и транспарантами, — контора. В другом — камералка и лаборатории, в третьем — общежитие, разделенное фанеркой на две половины, а домики разбиты на клетушки, куда по вечерам исчезает руководство. Рабочие и младший инженерно-технический персонал селятся в круглых полярных палатках, полученных от Папанина, когда тот директор-

ствовал в Севморпути. Каждому палаточнику завхоз сбрасывал с чердака конторы две оленьи шкуры и спальный мешок. На под палатки стелился лапник, за которым отправлялись в соседний лес, или мох, на них набрасывалась шкура. Второй шкурой можно было укрываться, бывшие в употреблении спальники, засаленные, как тракторный капот, не особенно хранили тепло. Шкуры линяли и на глазах лысели, и утром тот, кто укрывался, вылезая из палатки, долго не мог понять, на какого мохнорылого зверя он похож.

Старожилы сооружали в палатках топчаны, настилали полы, а стенки оклеивали газетами или обложками журналов, закаляли тело в морозе, а душу в борьбе с завхозом. Грузы застряли где-то за Уралом, баржи стоят в Тюмени, оборудование каплями капает воздушным путем. Нет гвоздей. Пришли гвозди — нет сапог. Завалили склады сапогами — нет труб. «Где трубы, останавливаем бурение!» Прибыли трубы — потеряли шланги. Все это называется организационными производственными трудностями, связанными с отдаленностью, поэтому никто не разрывает себя в клочья и не наживает инфаркты.

Экспедиция нам понравилась: из каждой комнаты валит табачный дым, гремит хохот, самому старшему начальнику сорок пять, а остальные как на подбор — от двадцати до тридцати, бодрые, энергичные, демократичные, все на «ты». Таков стиль. И еще — почти все ходят в тельняшках и черных беретах. Когда мы их напялили на себя, то сразу же смешались с массой. Для полного стиля нам не хватало мушкетерских бородок, но мы с первого же дня прекратили скоблить подбородки, и у Витьки на щеках появилась рыжая щетина, а у Ивана потемнело над губой.

В одном из маленьких домиков с высокой трубой ютилась столовая. Там стояли два длинных стола от стены до стены, вдоль них — скамейки. В экспедиции

летом деньги никому из сезонников не выдавали, а в бухгалтерии напечатали «бонь» — карточки, где стояли число и год, но не было месяца. Почему-то здесь не завтракали, а выскакивали из-под шкур и, стряхнув шерсть, мчались на работу, зато обедать можно было с одиннадцати. Подходишь к раздаточному окошку, протягиваешь свою карточку, отрывают талончик и наливают трехлитровую миску борща, или лапши, или супу горохового.

— Кому добавки? — кричат из окна.

Подходишь за добавкой — опять полна миска. Повар у них трехлитровый. Те, кто дома привык к завтракам, в ужин подходили раза два за добавкой, чтобы впрок! И многие ошибались. Набьет себя первым, а на второе сил не хватает. Второе — гуляш с гречкой или пшенкой, или манкой, или просто каша без гуляша. И снова кричат:

— Кому добавки?

Подходишь — опять полна миска. Как лопатой кинут, горкой. На третье всегда подается коричневый компот из груш или свирепой крепости чай индийской заварки. Компот и чай выкушивается из пол-литровой стекло-тары. В общем, такой столовой я никогда не видел и, наверное, не увижу. Меню вечное, но зато сытно, зато много — как раз для студентов и молодого растущего специалиста. За столом попеременно — и главный геолог, и бухгалтер, плановик и прораб, рабочий третьего разряда, техник-геолог, радист и каюр. Столовая хороша еще тем, что со всего поселка она приманивает собак — вогульских и мансийских лаек, хотя они не все чисто-породны и не отвечают всем требованиям знатоков, но их клубилось столько, что можно было выбирать, как в питомнике. Каждый присмотрел себе собачку и одну добавку второго относил ей.

Часто с банкой компота застаем в «котлопункте» начальника экспедиции Фишмана, носатого, черноголо-

вого, волосатого. У него отросла такая борода, что он выглядывал из нее, как из скворечника. Вертит во все стороны носом и быстро-быстро говорит — разобрать трудно, слова путаются в бороде и никак не могут выбраться. Фишман так погружен в дела экспедиции, до того рассеян, что на работу иногда появляется в разной обуви, на левой — черная сорокового размера туфля, а на правой — коричневый туристский ботинок. Единственный бритый мужчина в экспедиции и ее окрестностях — главный геолог Рудкевич. Он не только брит, не только в белоснежной сорочке и в галстуке, он ежедневно чистит штилеты, и они одичало и вызывающе спят из раскисшей грязи. И вообще, Рудкевич — явление, незаурядная личность среди черноберетников, и каждый раз, видя его, приятно удивляешься: он появляется словно лорд — статный, осанистый, сдержанно улыбающийся. Фишман что-то жужжит из своей бороды, проглатывает и выплевывает слова, а Рудкевич сдержанно резюмирует, комментирует начальника, будто переводит с дельфиньего языка на человеческий.

— Яков Семеныч требует, чтобы к тридцатому мая все партии были готовы к выезду в поле, — переводит Рудкевич. — Он лично проверит каждого... И каждую мелочь. Ибо мелочей нет. — Начальники партий молча слушают. Фишман, разбежавшись, несется рысью, совсем слов не разобрать, а Рудкевич переводит: — График составлен, первой высаживается Черногорская партия, затем Обская. Никто без очереди не пролезет.

— Поняли?! — внятно и властно вдруг спросил Фишман.

— Поняли! — хором ответили начальники.

— И чтоб каждый медосмотр прошел, — совершенно отчетливо произнес Фишман. — Нечего грыжи и ревматизмы в поле таскать.

— Яков Семеныч, с обувью плохо — кирзачи! Больше месяца не держатся в лесу да по болоту. Резиновых бы хоть немного, — молит начальник партии.

Фишман что-то быстро и резко сказал, Рудкевич даже не перевел.

— Понятно! — ответил начальник партии. — А где взять? По такому адресу я рабочего не пошлю.

Опять резкая короткая фраза.

— Так бы и сказал, — умолкает начальник.

— Мне бы денег, Яков Семеныч! — поднялся Басков. Фишман что-то бормотнул в бороду. — Да немного — тысяч десять, на первое время.

— Хватит и пяти, — перевел Рудкевич.

Фишман отомкнул сейф, бросил на стол пять пачек.

— Пиши расписку, — внятно сказал Фишман. — Я же разрешил в партии брать охотников. Их оформляйте рабочими, пусть рыбу ловят, зверя бьют... — закончил Фишман, а Рудкевич добавил: — На каждую партию оформлено по две лицензии на лося. Ловите и бейте, а тушенки со склада не получите.

— Тушенка, масло и борщи — все это транспорт. Очень дорого, — произнес Фишман.

Фишман и Рудкевич чем-то похожи друг на друга. И одного без другого невозможно представить, хотя Фишман — типичный технократ, мыслит трезво, руководствуется инженерным расчетом и остается рационалистом, а Рудкевич более мягок, тонок, более доступен, что ли. Хотя оба они геологи-поисковики, но Рудкевич более интеллигентен, эрудирован и элегантен. Фишман проводит техническую линию, зажимает деньги и кадры, бьется, чтобы уменьшить себестоимость и затраты, экономит на всем, чтобы сохранить фонды, урезает сметы, портит кровь себе и начальникам партий. Рудкевич создает геологическую позицию, имеет дело лишь со старшими геологами партий, прогнозирует и направляет поиск, разрабатывает методики, вырывает деньги

и кадры у Фишмана, а сакономленное и собранное по крохам пускает на исследования. Так у них и крутится: уезжает в Москву Фишман, начальником остается Рудкевич, оснащает лаборатории новыми приборами, переманивает из других организаций специалистов, переставляет кадры и пересматривает объемы работ. Уезжает Рудкевич, Фишман садится за геологию, из лаборатории выгоняет всех в «поле», находит пути к сокращению и уплотняет кадры. Москва знает обоих хорошо, и когда экспедиция не выполняет финансовый план, Фишмана переводят главным геологом, а Рудкевича — начальником, а когда Рудкевич не выполняет геологическое задание уже будучи начальником, то вновь ставят Фишмана. Каждый из них уже по два или три раза побывал и в той и в другой должности, они знают друг друга до молекулы, доверяют, уважают и дорожат друг другом. Оба они кандидаты наук, оба преферансисты, но один любит Дебюсси, а другой — Грига, у одного жена — начальник отдела кадров, а у другого — геологического отдела. Так что Москва может спать спокойно: план будет, фонды сохранятся, геологическая позиция создана!

— Перед тобой, Николай, — похлопал Рудкевич Баскова по плечу, — поставлена сверхзадача. Геологической съемкой отыскать поднятия. Утвердить наш метод, наш стиль. Дерзай!

Так как наш начальник умеет искушать и обаятельно улыбаться, то ему ничего не стоило в течение трех дней получить оборудование, а на четвертый поставить к причалу на заправку стопятидесяти сильный катер. Фишману импонирует Басков своей хваткой, и он, не глядя, подписывает накладные, по которым мы получаем палатки, надувные лодки, карабины, ракеты, рацию и медикаменты.

В партии, чтобы выполнить задание, необходимы старший геолог, два начальника отряда, три прораба,

три геолога и пять-шесть техников. Ну и, конечно, пятнадцать-двадцать рабочих — в маршруты, на проходку шурфов и скважин, а также каюры-конюхи, лодчники-мотористы, радист и завхоз. Все они обоснованы в проекте, утверждены сметой, и на них экспедиция спустила фонд зарплаты. Но кадров нет.

О том, как Басков укомплектовывал партию, можно было бы написать целую книгу. И началась бы она с того момента, когда Басков месяца за три до описываемых событий нашел в Москве молодого радиста Гошу, только что демобилизовавшегося из армии.

— Хочешь заработать? — без предисловий спросил его Басков.

— После дембиля я, — улыбается Гоша, — как не хочу! В плавание собираюсь, а через год проектирую жениться!

— Может, со мной поплаваешь, а! — предложил Басков. — По Оби да по тайге, ну? Тысяча двести оклада, да пятьдесят процентов полевых, да пятьдесят коэффициент, как?

— Мало! — ответил Гоша, перемножив в уме. — Столько я и в Москве заработаю. А там — тайга, без всяческих удобств. Я в театры собираюсь походить да музеи-галереи посетить.

— Но получишь кучкой! — обрушился на него Басков. — Деньги выдают под расчет, за все проработанное время, ясно?

— Кучкой хорошо, но маловато, — не соглашается Гоша. — Здесь я могу и по совместительству, ведь я радиотехник — кому приемник, кому радиолу, магнитофон... часовой я мастер... и слесарить могу... Нет, маловато... А медведи там есть?

— Окорок хочешь? — ехидно спросил Басков и прищурился, и Гоша понял, если сейчас он откажется, то мечте никогда не сбыться, никогда он не встретится со зверем один на один на глухой заросшей тропе.

среди бурелома и вывернутых корней. — Окорок хочешь или шкуру?

— Мне бы шкуру, — дрогнул Гоша и проглотил слюну. — До мяса я не жадный, а вот шкура с мордой... с когтями, ой... Только вот денег маловато. Я ведь жениться собираюсь...

— После армии да жениться? — улыбнулся Николай. — А что ты ей дашь, жене, чему научишь, когда мира краешек не видел. Не тонул ты, не горел, не голодал, зверь тебя не пугнул, даже в лесу ни разу не заблудился ты, а вырос вон на два метра. Биографии нет — школьник, пионер, солдат, и ты думаешь: для мужчины достаточно? А ты вот погибни раза два да раза три воскресни, вот тогда я тебя Георгием назову. Привет, Гоша! — И пошел размашистой, покачивающейся походкой, но не быстро. Гоша догнал его, когда он еще не успел скрыться за углом.

— Я же еще в моторах разбираюсь, — в голосе мольба и нетерпение. — Машину любую могу водить, права имею...

— В тайге полное бездорожье, — отрезал Николай, — зачем мне моторы? — Но, помолчав, добавил: — У меня две лодки-шестисилки и подвесной мотор «Москва». Сколько у тебя школы?

— Восемь классов... — растерялся Гоша.

— Есть такое предложение... Имеется в партии должность завхоза. И вот если радист, что работает всего лишь час в день, возьмет на себя и хозяйство, то ему еще пол-оклада, с добавкой.

— Вот это подходит — радист-завхоз, — обрадовался Гоша.

— Нет, назовем так: радист-базист, — ответил Басков. — Если ты согласен, то договор у нас с тобой сразу — будешь еще мотористом, но уже как общественная нагрузка, понял? Отвезти-привезти ребят на работу, с работы перебросить в лагерь, с участка на

участок. Ты молодой — это ерунда. В общем, радист-базист.

Все это Гоша, голубоглазый, продолговатый парень в тельняшке, галифе и хромовых сапогах, рассказал нам в первый день нашего приезда, но рассказывал так, будто Басков едва-едва его уговорил: ведь сюда еще не больно-то едут, в такое безлюдье, но мы поняли одно — Басков Гошей убил трех зайцев: взял радиста и не возьмет завхоза и моториста.

— У меня все готово! — И Гоша провел нас в палатку, где стояли проверенная рация, тщательно смазанные моторы, по-солдатски аккуратно и толково сложена одежда, сапоги, оборудование, продукты — все как надо.

Перед тем как нам идти оформляться в отдел кадров, Басков провел с нами летучее совещание.

— Вопрос не столь сложный, сколько формальный. Решим мы его сразу, если пойдем друг друга. Без паники и шума. Дело в вас самих — что вам нужно от этой практики?

— Как что?! — враз все заволновались. — Странный вопрос...

— Ну, вот ты, Юрий, что ты хочешь? — в упор спрашивает Басков. — Отвечай только за себя!

— За себя и отвечу! — твердо заявил Юрка. — Мне нужен полный, емкий, качественный материал для диплома. Первое, нужен руководитель диплома — опытный, знающий геолог. Возможно, что дипломом я не ограничусь, а приеду сюда на работу — второе. Третье, — у него даже лицо стало каким-то незнакомым, ведь он отвечал только за себя, — третье, чтобы вы, Николай Владимирович, предоставили мне какую-то самостоятельность, мне нужно пройти несколько маршрутов.

— Понятно! — кивнул Басков. — Тебе, значит, нужна должность техника...

— А я и работал техником на Урале,— отрезал Юрка.

— Понял, понял,— махнул рукой начальник.— Ты, Иван?

— Я тоже склоняюсь к самостоятельной работе и целиком разделяю позицию Юрия,— ответил Иван.

— Петр? Виктор?

И Петр и Виктор ответили одинаково:

— Знаешь, Николай Владимирович, ты нас сманил с Камчатки, там капитально оформляли нас на должности техников. Вот и давай нам их, не жисься!

— А я и не жиюсь,— засмеялся Басков.— Дело в том..

— Да, дело в том,— перебил его Юрка.— Мне кажется, и это стало не только очевидностью, но правилом, что творческая биография геолога начинается в студенчестве... да и стаж пригодится...

— Зачем?— удивился начальник.— Для пенсии?

— Всякое бывает,— уклонился Юрка.— Но геолог, его известность начинаются с практики...

— Верно,— согласился Басков.— Отсюда начнется ваша творческая биография. Но ведь вы еще не готовы к самостоятельной работе, здесь черт ногу сломит... И дело в том, что у меня только три места, а вас — пятеро. Вы все для меня равны, вот и решайте, кто пойдет на эти места. Меня не касается, решайте сами.

— А ты психолог, Коля!— говорю начальнику.

— Должность такая, Женя,— улыбается он.— Даю вам полчаса на раздумье. Но хочу сказать одно: рабочие все на сдельщине. Хочешь заработать — заработаешь!

— Сколько?— спросил я у Николая.

— Тысяч пять-шесть,— небрежно ответил Басков.— В месяц. Но задаром здесь копейку не дадут. Решайте. Еще в Саратове я решил, что буду проситься рабо-

чим, силенки не занимать, работой никакой не брезгаю — хоть лес валить, хоть землю копать. А геологией здесь, как я посмотрел, можно только на ручном бурении заниматься. Что здесь дадут маршруты по залесенности и заболоченности — совсем мало. Конечно, на бурении! Думать мне нечего — дома мать одна осталась с тремя девчонками да дед ветхий, помочь рады бы, да нечем, а я обносился, одеться хочется. Чего там говорить, и у Витьки так, и у Петра...

— Ну, как ты, Женя? — поднял на меня глаза Юрка. — Давайте решать по справедливости, но заранее скажу, что в работяги не нанимался. Жмет он нас, полно у него инженерных должностей. Ну как, Женя?

— Ты же за себя ответил. Николай тебя понял. Нам дали право выбирать, и я выбрал бурение. Рабочим.

— Кого ты зарабатываешь? — завопил Иван. — Кого? Сдельщина, это же хитрая штукавина, с зари до зари нужно вкалывать. Нет, ну ее к черту... Я на съемку, техником.

— Чего ты волнуешься? — отвечаю Ивану. — А что в тайге делать, ты скажи? Вернулся из маршрута, умылся, разобрал образцы и спать иди? Так ведь?

— Брось ты, Женя! — поднялся Юрка. — Ты же знаешь, сколько времени тратишь на анализ.

— Иди ты... — огрызнулся Витька. — Анализ... строишь из себя кандидата... Да тебе и геология-то не нравится, а туда же мне... Давай, Женя, я с тобой...

— Силенки накачаем, материал буром вытащим — ой-ей, диплом! — согласился Петро. — Ну вот, как раз трое, бригада.

— Решайте сразу, потом не возьмем, — полушутя пригрозил Витька.

— К вам-то? — усмехнулся Иван.

— На деньги менять геологию, — печально так покачал шевелюрой Юрка. — Вот так неожиданно узнать друг друга — раскрылись нараспашку.

— У меня мать одна, понял?— заорал Витька.— И больная она. А я, гад, учусь, жилы у нее тяну, хотя должен ее покоить и кормить, понял?

— Ну что, орлы?— вошел начальник.— Решили?

Ему протянули список. Он прочитал его внимательно, пошевелил губами, оглядел всех поочередно, словно знакомясь с нами вновь, и посуровел. Взгляд его окреп, отвердел, и уже как-то казенно-официально он сказал:

— Почему-то так и думал. Ладно, как решили, так и будет. Вы двое,— он зачитал фамилии,— да будьте вы техниками. А вы, ребята, поставьте в заявлении «рабочим 3-го разряда». Но один из вас должен быть мастером.

— Есть у нас мастер,— кивнул на меня Витька.— Мастер по вольной борьбе.

— Что ж, прекрасно!

Так нас и оформили.

Техники отправились представляться главному геологу и засели в геологическом отделе, мы же двинулись на склад получать буровой инструмент и засели в кузнице: гнули скобы, обрезали патрубки, оттягивали ломы и топоры. Два дня мы гремели железом и падали ночью в сон — уже не мешала нам белая ночь. А потом меня, как мастера, вызвали в контору и часа три объясняли, как составлять наряды, определять категорийность пород, где и за что платить, как распределять тарифное время и сдельщину. Вручили кипу документов: бланки нарядов, акты на списание инструмента, оборудования, фуража, ведомости на зарплату...

Мне стало нехорошо.

— Ничего, крепись, паренек,— подбадривает меня экономист.— Мастер, он в любое время заменит начальника. А бумаги... вот эти бумаги — лицо твоей работы. Все, что ни сделаете — бурнете ли, копнете ли, дерево повалите, шаг куда сделаете,— все должно лечь в эти бумаги. Вот, держи расценки — это на переноску тяже-

стей. Значит, как заполнять: груз весом в 25 килограммов на расстояние десяти километров... так... 2 рубля 30 копеек.

— Брунда! — махнул я рукой. — Стоит ли писать.

— Нет, ты гляди, — вцепился в меня расчетчик... Он же, этот груз в 25 кг на расстояние 11 км... так... — 2 рубля 98 коп. Видал, потяжелел?.. А возьми 15 км? 4 рубля 44 копейки. Вот туды-сюды находишься, тысячи кэмэ набегаешь, тогда узнаешь... Понял?

— Понял, — отвечаю, — то начальника работа.

— Э, нет! — погрозил мне пальчиком расчетчик. — Ты составишь, заполнишь, сосчитаешь, начальник подпишет, визу экспедиция приложит, тогда попадет ко мне, а я уже погляжу, где ты по закону, а где ты приписал. Счас, слушай меня, паренек, счас во главе всего экономист идет, он свое слово говорит — надобно, ненадобно... выгодно или убыток. А за головой-экономистом идут уже геологи. Ты от этого дела не беги... не беги, паренек... Годика через три начнешь сам партии водить. Так вот я тебе и скажу: будешь знать, как планировать, будешь знать, как копейку держать, и будет у тебя работа...

— Мне геология важна, понял, — отвечаю расчетчику. — А это ваше дело оценить, расценить, на счетиках кинуть.

— Мы тебе так кинем, что по миру пойдешь. А когда у тебя люди зарабатывают и видят, что ты нигде их не зажимаешь, то они тебе горы своротят. И не в деньгах дело, пойми, паренек, а в оценке... в оценке... будь то рабочий, прораб или геолог...

Басков отозвал меня в коридоре в темный уголок.

— Слушай, Женя, коль ты мастер по вдохновению, по судьбе, так сказать, есть предложение. — Он выглядит усталым от беготни и суеты. — У вас в отряде должны быть начальник и геолог для описания скважин и составления разрезов. Дают такого мне зануду, что

от одного его вида у всех изжога. Его никто из начальников не берет — приказом его дают.

— Ну и что? — отвечаю ему. — Рога ему обломаем, если подниматься начнет.

— Да нет, не про то я... Сумеете сами скважины описать?

— Опишем, — заверил я Баскова. — Керн весь на виду, подняли змеевики и записали, делов-то... А у нас будет хоть один геолог?

— Один-то будет, — поморщился Басков. — Галкин... парень интересный, но стукнутый наукой... В дебри лезет...

— Вот и пусть, — ответил я Баскову, — мы опишем керн, образцы отберем, а он в журнале распишется, будет его документация.

— Молодец! — похвалил меня Басков и пристально взгляделся.

— Чего ты? — не понял я начальника.

— Большого ума ты человек, — усмехнулся начальник и отошел.

За эти дни мы узнали, что в Березово базируется контора бурения и Обская геофизическая партия. И в конторе, и в партии работают немало наших земляков, двое из них окончили прошлый год. Когда мы полностью экипировались, Витька предложил навестить земляков.

— Конечно, это нужно для диплома, — подхватил Юрка.

К землякам нужно было тащиться по весенней грязи километров пять, но стояли такие вечера, что сидеть на базе, в палатке, на прокисших шкурах было противно. И мы отправились.

Шли по улицам, перекликались, гремели деревянными тротуарами, а они, как клавиши, или еще того хуже: наступаешь на доску, а она, как живая, взвизгивает и прицеливается в лоб. На тротуарах грели свои меха

собаки, мохнатые и грязные, словно о них ноги вытирали. Прошли мы центр поселка, где райком, Дом культуры, почта, столовая и милиция, так сказать, на едином плацдарме. Книжный магазин уже закрывался, хотя солнце стояло высоко. Заглянули в рощу лиственниц на обрыве реки, здесь нам березовец показал место, где ютился Меншиков — «вон, видишь, пекарня... вот здесь часовенка стояла». Но берег тот, где был захоронен сиятельный муж, унесла река, а до нас даже не дотронулась грусть. В северном небе нет грусти, оно ярится все лето — прозрачное бездонье, распаханное так просторно, что захватывает дух. Такие здесь древние, словно литые из железа, лиственницы — стремительные колонны, взлетающие в небо. И видели они все: и каторгу, и Меншикова, и казацкие струги.

В роще танцплощадка, гулкий деревянный помост поднимается, словно языческое капище, в котором гремит и разрывает себя музыка. Туда, в этот загон, стайками впорхнули местные девчата, а потом потянулись парни в резиновых, кирзовых сапогах и одиночки — в туфлях. Мы не собирались танцевать, нам нужно к землякам. Но когда мы стали выходить из рощи, нас встретили настороженные, чересчур серьезные взгляды парней в пиджаках, на которых лежали навывпуск белые воротнички. Они словно принюхивались к нам, прицеливались и брезгливо, равнодушно отвернулись, нехотя, лениво уступая тротуар. Двое самых грузных заняли его лицом к лицу и хохотали, глядя в глаза, плевали кедровые орешки на землю. Витька шел первым и наткнулся на заслон. Он становится всегда изысканно вежливым, когда собирается дать кому-нибудь в морду.

— Сэры приветствуют нас? — обратился он к парням. Те продолжали хохотать. — Я хотел бы пройти, — жалобно протянул Витька и дотронулся просительно до одного парня.

— Он хотел бы пройти, — захохотал один, а другой просто вытянул потную лапу и провел Витьке по лицу. — Он пройти хочет!

Я оглянулся — точно, окружили со всех сторон, и крепкие такие парни, скулы у всех, как чугунные, жалко — кулаки в кровь разобьешь. Витька резко зацепил тех за воротники и шибанул лбами. Они еще не поняли, улыбки идиотские свои еще не успели убрать, как он развел их на вытянутые руки и плотненько так приложил друг к другу. И пали те по обе стороны тротуара, спинами пали, на вытянутых ногах. Сбоку на Витьку бросился темноглазый человек, его я легонько под коленку тронул — тот ударился лицом об загородку, вот до чего торопился. От задних тоже отмахнулись, и пока они вопили и орали, вышли на улицу по направлению к буровым партиям.

Тут из переулка выдвинулась еще одна команда, но эта уже шла, заполнив всю улицу, с музыкальным сопровождением, с гитарами и аккордеоном. Музыку спрятали в середину, вокруг музыки обертка из прекрасного пола — колыхающаяся, щебечущая, розово-зелено-малиновая сердцевина. В авангарде приземистые крепыши — челочки на брови спустили. По сторонам маячат парни повыше, а тылы держит тяжелая пехота — давят грязь сапогами, как гусеницами.

Отряд повернул к нам, и музыка в середине заиграла туш.

— Под мелодию бьют, — прошептал радист Гоша.

— Тихо! — напрягся Витька.

От капеллы отделилась тройка — прямо как при вручении грамот — и подошла к нам.

— Привет! — улыбается рыжий.

Мы вежливо поздоровались.

— Из экспедиции, значит?

Нас уже окружила капелла. Мы стояли в серединке, и нас обволакивала душистая зелено-малиново-розовая

сердцевина, и девушки пялились на Витьку, на его запавший глаз, что уморительно подмигивал.

— А вы чейные? — поинтересовался Витька.

— Мы-то — контора бурения! — представился рыжий. — Маклаков я, Василий, помбур. Може, земляки? — спросил он с надеждой.

— Откуда же ты, Маклаков? — вытирает Петр разбитую бровь. — Уж не хвалынский ли?

— О! — вскрикнул Маклаков, ударил себя по коленям и присел. — Из Балакова я, друг!

— А я из Вольска, — едва успел сообщить Витька, как на него набросился Маклаков и принялся душить. У них здесь так обнимаются — душат.

Взыграла музыка.

— А дружок мой из Ершова, — орет помбур Маклаков. — Из Ершова, понял. Иди сюда, Семен... иди.. земляки.

Семен подал руку. Приятно ощутить ее тяжесть, словно гирию двухпудовую поднес.

— Рад, — он засмутился и добавил: — Как там? Тепло у нас там, мягко? — И отошел.

— Эй, Паша, двигай сюда! — скомандовал Маклаков. Придвинулся Паша с хозяйственной сумкой, спокойный такой, невозмутимый каптенармус. — Приглашаю послезавтра к себе, к Василию Маклакову, на товарищеский... понимаешь... обед. Или на ужин, как говорится в благородных слоях...

— Уходим послезавтра, Василий!

— Не уйдете! — отрезал Маклаков. — Паша, угощай!

Показались черные береты, заголубели тельняшки — Басков, запыхавшись, привел помощь. Думал у нас неприятности, а тут понимаешь, встреча с земляками.

— Да не боялся, нет, — оправдывается Басков. — Взял ребят на всякий случай, думал заплутаешься...

Так и не успели мы толком познакомиться с Березово. Утром сели на катер, и через двое суток были

на месте, в маленьком поселке на берегу Оби. Здесь мы пробыли двое суток, отобрали в табуне коней, арендовали лодки. Горючее доставил нам катер, колхоз отсыпал овса, пекариха нагрузила хлебом, и мы врезались в тайгу. До нас тут прошли геофизики, и на планах были обозначены полутора-двухметровые просеки, что рубились осенью позапрошлого года. По этим профилям мы должны пройти сотни две километров с бурением и составить подробную геологическую карту.

Глава 4

Мы познакомились с Галкиным в самой банальной обстановке. Он сидел на берегу реки, свесив с обрыва ноги, в мятой ковбойке и толстой парусиновой иглой протыкал изодранные джинсы. Игла не слушалась его, выпрыгивала из пальцев и, туго скрипя, заползала в шов. Галкин двумя руками перебирал нитку, вытаскивал иглу, натыкался на нее и кровянил неумелые пальцы. Нитка казалась бесконечной — метров пять или семь, — скручивалась, захлестывалась в петли, затягивалась крохотными паучиными узелками. Солнце стояло высоко, и портной до предела извелся, рывками дергая на себя нитку, а та рвалась. По джинсам расползались толстенные швы, но не гляделись они ручной работой, а походили на электросварку. Потом игла хрустнула, и Галкин долго смотрел на обломок, тянул к себе нитку и, рванув ее, принялся разглядывать на свет брюки. У него вырвался вопль: наверное, он очень любил эти штанишки.

— Здравствуйте! — поздоровались мы с Витькой громко и вежливо.

Галкин повернулся к нам, оцупал желтенькими глазками и шевельнул бровями. Брови выгорели на солнце, золотисто залегли на лбу широким жестким козырьком.

Галкин всматривался в нас таким умным, внимательным взглядом, каким обычно еще не смотрят двадцатишестилетние мужчины. И приподнялся — толстоносый верзила, головастый и узкоплечий. Протягивая мягкую руку, он не улыбнулся, а так — чуть кивнул конопатым лицом.

— Семен Львович! Так... рад... Ты мастер? А ты? — обратился он к Витьке.

— Я подмастерье... А вы?

— А я исполняющий... старший геолог, — отрезал Галкин. — Пардон! — Он повернулся к нам спиной и попытался натянуть на себя джинсы. Слепило солнце, гремел ручей, а Семену было тесно и тоскливо — в нем много роста, он был розовато-рыжий с пяток до макушки и гляделся сзади, как гантель. С трудом он запытал себя в брюки, натянул сапоги и тяжело выпрямился.

— Из маршрута? — поинтересовался Семен, хотя знал, что мы уходили в двухнедельный рекогносцировочный маршрут, вчерне намечая места для бурения. — Наслышан о тебе, весьма... и думаю, что сработаемся. — Он вытащил из кармана портсигар, вынул папиросу, шумно дунул в мундштук и закурил. Мы с Витькой достали свои папиросы и взаимно угостили друг друга. — Поднятие пересекли? Сколько, по-твоему, мощность? Метров двадцать? — обрадовался чему-то Семен. — Вы как, свободны?

И, не услышав ответа, Галкин рванулся через кусты к своей палатке. Брезент раскалился на солнце и гремел, как жесь, а внутри, в комарином звоне настоялась духота — тело враз покрылось потом. Раскладные столики, постель, выючные ящики закрыты рулонами, картами, многоцветными разрезами. Грудами навалены геологические журналы, фото, планшеты, куски плотной глины и мелкие валунчики. Семен одним махом очистил стол, нырнул головой в рюкзак и достал ноздреватый обломок брызны.

— Завари чаю! — приказал он Витьке, запустил руку в спальник и вытащил плоский кожаный мешочек, раскрыл его, там в пергаменте хранился чай. — Индийский! — шумно понюхал Семен и, чтобы у нас не осталось сомнений, добавил: — Из Дели... Дядей доставлено... Давай кипяток!

Семен высыпал в кружку крупинки, чуть ли не по счету, залил кружку наполовину и прикрыл тряпичей.

— Я, как вы слышали, по специальности геоморфолог. Специальность редкая, не рядовая. — Мы молча покивали. — В Саратове на географическом факультете недавно наладили выпуск геоморфологов, только они не знают еще, куда идти работать. В школу не берут: не знают методики и педагогики, а в геологии они не очень соображают... Так вот. — Семен приподнял тряпичку, понюхал, почмокал и добавил еще несколько чайнок. Ароматом потянуло, наверное, и правда чай редкий. — Изучаю я долины, террасы, возраст и формирование рек. Давно занимаюсь россыпями: золото, шеелит, киноварь. Готов! — Семен разлил чай по кружкам. — Угощайтесь! — И кивнул на брынзу.

Прихлебываем чай, приятный, легкий чай из Дели, и слушаем Семена. В экспедиции, где он работал второй год, о нем говорили по-разному. Одни считали его дьявольски талантливым, глядя на мощный череп, нервные, тонкие руки и глубокий взгляд, другие заметили в нем рассеянность, но и это как будто бы подтверждало талант. Третьи отмечали лишь слепую, категоричную веру в оледенение, а прекрасный пол выделял его на танцах в клубе, где он проявил себя как сгусток энергии и сплошная эмоция.

— Современные речные образования — аллювий рек — являются вторичными, третичными продуктами переработки древних отложений. Вот я и должен выяснить, каков характер древних галечников, каков их воз-

раст и не связан ли он с ледником. Важно нам — ледник или море?

— Дай тебе бог! — бормотнул Витька.

— Что? — переспросил Семен.

— Дай бог тебе разобраться! — потягивая чай, ответил Витька.

— В доказательстве ледниково-гляциальной гипотезы я особенно рассчитываю на вас, на ручное бурение, — чересчур серьезно заявил Семен. — Сам я буду маршрутить, горный отряд бить шурфы, вы бурить, но весь материал пройдет через мои руки. Учтите: я — геологическая основа партии. И мы докажем ледник, черт возьми!

— Да зачем он тебе? — удивился Витька. — Здесь же нефть ищут.

— Всякое уточнение геологической карты поможет уверенней искать нефть и газ, — назидательно произнес Галкин. — Ясно?

...Только сегодня мы с Басковым вернулись из маршрута. Он едва дождался встречи с «полем» и бросился в маршрут, как в атаку, переполненный нетерпением и надеждой, перегруженный одной-единственной версией о близком залегании пород и одном-единственном оледенении. Мы пересекали поднятие правобережья Оби, но ничего не увидели, кроме плаща суглинков, плоских фрагментов древних равнин. Болота в верховьях рек, болота в низовьях... Болота... озера... болота... А там, где чуть приподнято, распахнулся сосняк, а под ним песчаная толща. В одном маршруте Басков обнаружил приметы трех оледенений и почти уверовал в них, но утром, проснувшись, мы увидели в обрывах реки лишь две морены. К вечеру второго дня мы шли по речным пескам и озерным иловатым суглинкам. На третий день, в тихом урочище, среди кедрача, где глубоко врезана речушка, мы открыли вдруг морские отложения: чисто отмытые песочки с прослоями гальки

и битыми ракушками. Начальник принялся проследить эти пески, мы с Витькой выбили пять шурфов и к концу дня вошли в морскую отмель, где пески становились более зернистыми, насыщались гравием и глауконитом.

— Подводное течение,— затосковал начальник.— Глауконит появляется в местах течений, где больше кислорода.

Мы остались еще на день в этом урочище, наткнулись на покинутую недавно избушку, нашли вяленого чебака и, пока Басков осматривал борта речушки, в двух местах выбили трехметровые шурфы... И нашли ведь! Перламутровые раковины, толстостенные и ребристые. Но то были речные пресноводные раковины, и как они оказались близ моря — неизвестно...

— Может быть, дельта?— спрашиваем начальника. А Басков упирается лбом в непонятное, взвизгивает на дыбы и начинает громить ледники со всеми богами и боженятами. На шестой день, наметив профиль скважин и замыкая маршрут, мы вышли к Оби и Басков в сорокаметровом обрыве увидел вдруг восемь морен, что оставляют после себя ледники. Восемь!

— Боже мой!— заморгал он глазками.— Тройка... семерка... туз. Их восемь, что ли, было, а? Парни, гляньте... их восемь?

Глянуть — это значит рыть канаву, очищать обрыв от оползня. Кидаем мы землю, кидаем. Швыряем с обрыва валун. Песок все плывет, все плывет, осыпается. А мы все кидаем, швыряем.

И открывалась нам влажная, в перевитых корнях стена. Она поднималась из осыпи глянцеvато-мокрая, — проявлялись в полусвете, в дремоте бурые пласты, насыщенные валунами, песками, с высокими захороненными пнями в чудовищных корнях, выходили из осыпи зеленоvато-голубые ленточные глины, что рождались в межледниковье в тех мамонтовых озерных равнинах,

но под ними залегал не черный, хаотично раздробленный камень, что выпал ледник, а разнородный песок, и в нем мы обнаружили морские раковины.

— Боже мой! — взревел Басков, словно его поддели на острогу. — Боже мой, ледник отступал, а море наступало? Так, что ли? Или ледника вовсе не было?! — крикнул он, как еретик, отрекаясь от бога и уходя в свое язычество. — Будьте вы прокляты!

Он скатился с обрыва к реке, бросился плашмя на гальку и долго-долго пил.

— Что же делать, орлы? — С волос и бровей Баскова стекала вода, заливала ему глаза, он отфыркивался и раздувал ноздри. — Вы же дипломники, парни? Какую же мы к чертям собачьим карту выдадим, если тут запутано, как в пургу?

«Орлы» молчат, ибо оказались в торосах всех концепций...

И вот сейчас Семен Галкин раскидывает нам сети, чтобы завлечь в свою весьма запутанную гипотезу. А мы молоды, у нас нет опыта — ни в жизни, ни в науке, ни в практике... Но мы твердо знаем одно: гипотезы нередко бывают зыбки, но керн — никогда. Керн — это твердый и трезвый фундамент всех теорий. И маршруты, которые мы пройдем, скважины, которые будем бурить, все равно так или иначе помогут искать здесь нефть и газ независимо от того, подтвердятся ли предположения Галкина.

— Десантники! — так называл Семен свою группу. — Летучий Голландец! — Он даже выпятил грудь. — Мы начнем по науке, а не в лоб — охватим весь район — тысяча двести квадратных километров. Так! У нас появятся локальные участки, куда мы влезем капитально и осветим все и всяческие вопросы.

В отряд вошли и Юрка с Иваном. Пока мы готовим инструмент и снаряжение, они дни и ночи изучают литературу и делают короткие восьмичасовые вылазки

из лагеря. Небрежно кидают: «гляциодислокации», «самаровская морена», «зандровые поля», «бараньи лбы».

«Пара гнедых!» — зовет их Галкин.

Сформировав отряд, он первым делом собрал производственное совещание инженерно-технического состава. Они засели в шиповнике, среди коряг и выворотней, затаились там, чтобы никто не слышал.

— Коллеги! — сказал Галкин и, мотнув головой, стукнул пухлым кулаком в негулкую грудь. — Мамонт! Без мамонта нам никак нельзя. Нужен он нам позарез!

— Тушей? — озабоченно спросил Иван. — Или так, отдельными костями?

— Зачем мамонт? — удивился и Юрка. — Для чучела?

Галкин вобрал в себя голову — просто бизон, таким он стал свирепым, — сверкнул желтенькими глазками и застонал:

— Из мамонта — чучело? Чучело, да? Из такой реликвии, из такой древности, а!

— Так зачем же нам мамонт? — потребовала «пара гнедых». — Мамонтины хотите попробовать, Семен Львович? Мы тоже не ели мамонта!

— Ладно, — успокоился Семен и поддернул джинсы, — введу вас в курс вопроса. Без мамонта мы не можем утверждать, ледник был здесь или море. Ленинградские киты говорят: море! Наши московские жрецы категоричны — ледник! Вся средняя полоса колеблется — то ли море с айсбергами, то ли лагуны с островами. Либо-либо. Так вот, если мамонт — значит, ледник! Закон такой: мамонт в шерсти — индикатор оледенения. И шерстистый носорог!

— Пещерный лев, а? — подсказывает Иван. — Тюлень? Киты тоже во льды заплывают.

— Тихо! Я как сторонник оледенения, причем многократного, полностью разделяю московскую школу и сейчас чрезвычайно обеспокоен тем обстоятельством,

что никак не наткнулся на мамонта. Не может этого быть! Мне нужен мамонт!— вскинул голову Семен.— Да, в области их уже находили. Но мне мамонт необходим здесь, в данном районе! Уж если защищаться, то бивнем! А не мурой какой-нибудь, ясно? А то ведь как бывает: найдут ленинградцы гальку или валун и сосут-сосут во рту, чтоб она на морскую походила...

— Ясно!— ответила «пара гнедых».— Без мамонта у тебя темный лес. Сплошная тундра, а не геология. Веди!

— Вперед!— приказал им Галкин, и они затопали в маршруты.

Где оно находилось это «вперед», они не успевали разобраться, ибо металась по всем румбам, погружались в болота, поднимались на высоты, скатывались в долины, а мы бурили скважины и били шурфы.

Куковала, торопилась кукушка, далеко и чисто отдавался ее крик, но не отзывался ей никто в ночи, притихли травы, склонились под тяжестью росы. Притих сосняк, потемнели кедровые. Через Обь над тайгой к кукушкиному тоскующему зову изогнулась радуга, приподнимая небо в незатухающем солнце. Переливала себя радуга в реку, опустилась на дно и тускло высветила стайку шурят-шурогаек, тугую кувшинку в просторном устье протоки и чугунно-сизую коряжину. Испила радуга воды и тихо заискрилась на левом берегу, погружаясь в протоки.

Не видел ни разу, чтобы Обь хоть на час оставалась пустынной: она населена круглые сутки, от зари до зари. Погудывают тяжелым баском самоходки, пронзительно гудят катера, вразвалку проходит баржа с крутыми бортами, ее обгоняет ослепительный белый танкер. С верховьев маленький катеришко, задыхаясь, исходя в тоскливых, надрывных гудках, тянет плоты, целый километр плотов, а на них дом да два сруба, бегают дети, за ними гонятся собаки, горит костер, над

жаром повисло ведро, наверное, уха клокочет, из дома женщина вынесла белье, встряхнула и, поднимаясь на цыпочки, развешивает его на веревке, и плот обернулся двором, обычным человеческим жильем. А с низовьев прошел теплоход, на палубе танцуют, загорают в шезлонгах, а за теплоходом шлепают, пыхтя натужно, допотопный колесник, и плечи его, будто ладошками, пришепывают реку. Водомеры, буксиры, баржи, ковчеги, неводники, рыбацкие бударки — все это гудит, рокочет моторами, тарыхтит, рычит, гонит перед собой волну, оставляя пенистый след.

Наш отряд пробирается по правому берегу Оби, то удаляясь от нее на десять-пятнадцать километров, то приближаясь на два-три. Левый берег плоский, лежит, как блин, в молчаливых, медлительных протоках, мелких ручьях, заросших тальником, и лишь невысокие гривы кедрача уходят увалами к северо-западу. Правый же берег сухой, осветленный солнцем, в просторных кедрачах и сосняках, но отойдешь от берега несколько километров — начинаются топи, моховые болота и непроходимые трясины.

В поселке мы с трудом заарендовали пять кобылиц и бельмастого игривого мерина, но те дико шарахались от вьючного седла, взвивались на дыбы и, порвав узды, ломая загородку, скрылись в березнике, что переходил в кедровник. Тогда жители предложили нам волокушу. Но на волокушах нам не удастся компактно увязать инструмент — трехдюймовые трубы, обсадную, патруб-ки, змеевики и лебедки.

— Давай сани! — осеняет Витьку.

В сани впрягли коней, и те потащили их по торфяным кочкам, влажному мху, по осоке и болотным травам, налегая на гужи, по колено погружаясь в неверную зыбкую болотину, обходя трясины. Сани опрокидываются набок, натываются на не видимые во мху пни, часто насаживаясь на них, как на кол, и все бросаются

распаковывать груз, переносить железо и сталь на сухое место, перепрягать коня и снова грузить, а потом бежать к другой кляче, вытаскивать ее из болота, поднимать, распрягать и подталкивать сани. В первый день прошли восемь километров, на второй день — пять, на третий день просека уперлась в темный кедровник, куда едва проникает солнце, где все молчаливо и таинственно. То, что на плане топографов обозначалось как полутораметровая просека, оказалось узенькой тропиной, по которой можно пробраться лишь боком. Просеки не было — просто глубоко затесанные стволы, ровно на столько, чтобы прошел луч нивелира.

— Стоп! Кончен бал! — скомандовал Басков.

Несколько часов отыскивали тропки, чтобы пройти на лошадях гужом, потом сутки рубились, валили лес, плюнули и, бросив сани, пошли вьюком. Эти дни растянулись до бесконечности. Все тело ныло, руки уже не стибались, и мы медленно, как в кошмарном сне, протаскиваем караван через буреломы. Кони, пофыркивая, отгоняя оводов, осторожно копытом ощупывают глинистое дно ручьев и, выбравшись, грудью падают в высокие кочки, хрипя и брэнча удилами, а над нами туча осатанелого гнуса, что не засыпает и кажется бесмертным. По берегам ручьев и топких речушек свежие звериные тропы. Лосиный след. Его пересекает другой, совсем свежий... Здесь лось сиганул через пятиметровый ручей и быстро, подминая кусты, проломился по долине. А вот он шел спокойно, шаг ровный, длиной в полметра, а по болоту прополз на брюхе, распластался на трясине, его настигал волчий след. Так и печатаются следы — зверь за зверем. Впереди нас отвернул в сторону медведь, собак обжег горячий след, и они слепо, захлебываясь в азарте, рванулись в сальник. В крону кедра метнулся соболь, насторожил круглые уши, выглянул, грудь желтая — то не соболь, а кидус. Из-под ног с треском вырвался глухарь, вскрикнула

кедровка, ей отозвалась другая, третья — и вот уже стая с писком, скрежетом, хохотом и будто лаем раздирает вечернюю тишину. Темная глухариная, медвежья, соболиная чаща оживает, подмигивает бликами речушек и мелкими озерами, меняет краски, заманивает и остается настороженной.

День за днем мы разбуриваем профиль неглубокими тридцатиметровыми скважинами ровно через километр, но там, где встречаются древние породы, скважины ставим через двести-триста метров. На трехметровую трубу набрасывается хомут-зажим, на него одевают патрубкеры, рычаги, на конце трубы змеевик, как вал у мясорубки, и начинаем ввинчивать его в землю. Змеевик заполняется породой, труба выдергивается, снимается керн и бурится дальше, наконец труба уходит на полтора метра, на нее наращивается вторая, третья, шестая, десятая, но через каждые тридцать сантиметров колонна труб поднимается, чтобы взять породу-керн. И так — часы, дни, сутки, недели... Целыми днями крутишь ворот, ходишь по кругу, как слепая лошадь у колодца. Попадется валун где-то на глубине в десять метров — он разлежся там, и не знаешь, какой он толщины, — заменяешь змеевик долотом и с размаху бьешь, бьешь, лупишь по неподдающей округлости до тех пор, пока не раскокаешь, не изобьешь в щебенку, не сдвинешь к стенкам, чтобы пройти дальше. А глубже перекусываешь водоносный горизонт или пески-«пльвуны», и тогда принимаешься вычерпывать «ложкой», потому что породу не захватывает змеевик. Глину, метровый слой, проходишь за полчаса, а галечник — за пять часов, а то и вовсе бросишь скважину и перетаскиваешь ее на полсотни метров, но нарываешься на валун. Тогда бросаешь бурить, роешь шурф, приходишь до этого валуна и начинаешь все сначала...

И нет у нас никаких смен — в семь подъем, в семь двадцать завтрак, а в восемь уже крутим трубу, словно

раскручиваем шар земной, отталкиваясь от него ногами. А в три — обед. И вновь скрежещет галька, и колонна, как в масло, погружается в глину и скрипит в песке. Когда уже ничего не замечаешь, становишься глухим и опустошенным, бредешь в лагерь, к костру, проглатываешь миску борща и падаешь в сон. А в семь подъем.

И не видим мы толком ничего: ни зорь, ни закатов, и почти не видим друг друга — скорее! быстрее! давай! Время не терпит: сезон короток.

Эта страна — бесконечный, однозвучный гул леса, — гул, что поселился здесь навечно, это никем еще не тронутый, ничем не измененный мир. Любую землю, любую страну согревает тропа, человеческий след. Любая страна лежит и греется в тепле дорог, в шуме человеческих голосов — без них нет земли, есть пустыня. А этот край набрасывается на тебя ужасом безлюдья, обрушивается тишиной и гулом, бездорожьем, гнусом и грохотом гроз.

Сейчас июнь. Это странное время — июнь Севера. Долго, будто всю зиму вызревала где-то Белая ночь, а сейчас она налилась светом, завладела всем: и землей, и небом, настороженная, чуткая, и не впускает она в себя ни тьму, ни звезды, ни ветер. Говорят, что в северной ночи живет что-то болезненное. Небо истекает светом, и тени ночью легки, но не ночные и не лунные то тени, а тени зорь. Утро и ночь — будто один свет, но закат тревожит, а у рассвета рождает надежду, и каждый вечер несет в себе недосказанность. Это ночь прозрачных теней, с неуловимым закатом и таким же пугливым рассветом. День — ночь, ночь — день без границ, без четких привычных линий. Только перемещается солнце, за которым тянутся, путаясь, тени. Уставшие люди падают в зыбкие сны, прячась под пологи, а солнце, уже побелевшее от жара, взлохмаченное, душное, будто дымное, солнце будит всех, раскаляя палатку. Это и есть Север — резкий ожог лета, лавина

солнца и крик, — во все горло крик жизни, что, клубясь, рвется из рек, из болот, из темноты чащи, из трещин, из-под павших стволов.

В июне свирепствует гнус, в тайге духота, и кружит голову густой смоляной запах можжевельника. На реке изредка загораем, сбрасываем свитера и гремющую просоленную робу. У Галкина мягкая спина в веснушках и гладкие без бицепсов руки, тонкий стебель шеи. У него отросла рыжая свирепая борода, густая и плотная, словно ржавая проволока. Борода в отчаянном порыве почему-то все бросалась в правую сторону, будто слева непрерывно поддувал сильный ветер, и это делало лицо асимметричным.

— Сбрей ты бороду, Семен! — предложил как-то Басков. — А то все мне кажется, что ты рожи мне строишь!

Над бородой трудилась вся партия, но она по-прежнему упрямо лезла вправо.

Семен с хрипением, косолапя и урча что-то под нос, карабкается на горушку, печатая по мхам огромные, нечеловеческие следы сорок пятого размера.

— Порода! — объясняет он студентам, сбросив сапоги и шевеля огромными тонкими лапами. — Порода!

— Сен-бернар! — соглашается с ним Юрка.

Долго что-то, долго ищет Семен мамонта. Зато нашли вдруг тритона. Маленький такой — шесть сантиметров. Мумия, как фараон. Даже прозрачный — до чего высох. Тритон Тутмос пролежал в желтеньком песочке более трех миллионов лет, и малюсенькие его глазки из-под складок кожи словно высматривали из допотопных времен. Ну зачем нам тритон? Да еще четырехпалый, как раз такой, что в лагунах водился, в тепленькой водичке. За такого тритона ленинградцы могли бы премию дать. Галкин за голову схватился, волос дыбом, борода вправо и взгляд какой-то мутный: не успел он еще иммунитет против тритона выработать.

— Мамонты и тритоны, — качает головой Петр. — Вернее, мамонты — и фараоны...

— Наверное, пальмы шумели, а? Лимоном пахло, — разглядывает тритона Виктор. — Трехмиллионная ведь штучка. Сингапур здесь был, Семен Львович? Рио-де-Жанейро?

Но Семен так грустно посмотрел на него, что Витька замолчал. Конечно, обидно: снаряжаешься штурмовать Эверест и вдруг заползаешь на обычную кочку.

— Бог ты мой! — бормочет Галкин. — Что же теперь станет? А?

Мы поили Семена малиновым чаем, а он издавал короткий рык, мутным глазом смотрел карту, пробовал на зуб глину, нюхал ее. Мамонтом не пахло... Потом умылся Семен, побрился, зачесал налево бороду и приказал: «Вперед!»

На новом месте горный отряд, что базировался здесь уже полмесяца, в начале августа, когда стали притухать белые ночи и проступать на севере зеленоватые звезды, неожиданно для всех раскопал стойбище древних людей.

— Меняю метод, — заявил Семен, — попробуем археологический. Будьте осторожны и каждую кость несите мне!

Принялись искать — нашли глиняные черепки с ямочками.

— Керамика! — обрадовался Семен. — Ямочно-гребенчатая керамика, мать ты моя! Пятое тысячелетие до нашей эры. Они должны были поедать мамонтов!

Но люди, от которых остались черепки, при всей своей свирепости, почему-то не поедали мамонтов. Были кости оленя, гигантского лося, осетровые. Попадались крысиные, собачьи и даже немного тигриных. Нашим предкам, видимо, нравился тигровый бифштекс.

— Тритонов они ловили, — уверенно заявил Витька, — тигры очень любят тритонов.

— Ты уверен? — поразился Семен.

Тигры когда-то доходили до широты нынешнего Якутска и миллионы лет назад водились на Новосибирских островах. Что ж тут особенного — тигры ловили тритонов, люди ловили тигров. Но мамонта не было. Ни грамма. Однако Семен не унывал, тряс в ладонях какие-то костяшки и утверждал:

— Это лемминг — полярная мышь! Но у меня чутье! Точно, где-то здесь мамонт. Бригантина поднимает паруса!..

Раскаленный фанатизмом и нетерпением, он заразил весь лагерь «мамонтовой болезнью», хватал каждую кость, любой отшлифованный камень, крошил их, пробовал на зуб и, вздыхая, разглядывал в лупу. Не слышно ни одного человеческого слова, только — «мамонт... мамонт». Бусину нашли, нож из кремня. А мамонта нет! А он нужен Семену Галкину, нужен для той платформы, на которую Семен встал. Мамонтом, и лишь им одним, можно сокрушить противников оледенения.

— Эхма! — заводит себя Галкин. — Вот найдем этого зверя, я им дам дрозда!

Но «дрозда» он пока не мог дать, потому что тритон спутал все карты и шел не в козырь.

Гоша-базист тоже желал бы найти мамонта.

— Кость-то слоновая, — шепчет он мне, и глаза у него становятся как у рыси, — слоновая, понимаешь? Сколько она стоит, знаешь? А ежели он в шерсти, а? Значит, он в шкуре, а за шкуру, знаешь?..

Я чистосердечно признаюсь, что стоимость мамонтовой шкуры мне неизвестна.

— Заделаю себе рукоятку к ножу, — мечтает Гоша. — Можно ложку вырезать, хлебать уху одним миллионом лет. Спросят: «Что это у тебя, Гоша, портсигар желтый?» А я мимоходом, невзначай: «Чудо ты, ему полтора миллиона годов! Из тундры, можно сказать, со дна времен такую вещицу вынул».

Хрипели и бились лошади, зверели, падая под гнусом. Прошли мы через низовые и верховые пожары, через броды многих рек, и кони стали сдавать, хотя уже половина труб осталась — порвали, искорежили трубы, переломали змеевики, — но грузу все равно было многовато для шести заморенных кляч. Их давно уже надо было отправить на скотобазу, но они потихоньку тянули.

Тонет какая-нибудь из них по уши, берешь ее за хвост и тащишь, словно морковку из грядки. Каких только слов не наговоришь! Кипит все внутри, раскаляется, и сухо дерет в горле, а ты стоишь около нее, тудяги, и потихоньку свирепеешь от своего бессилия, оттого, что клячка падает мордой в прокисшую кочку, а тебе кажется, что она не хочет работать, не хочет тянуть вьюк, и твоя усталость всегда кажется еще больше, если рядом падает лошадь.

А Юрка как был, так и остался чистюлей. Когда мы по шею залезали в болото, когда, одичало ругаясь, вытягивали за ноги свой транспорт и потом падали рядом с клячей в зыбкий сон, падали, не натянув палатку, в мох, в опавшую хвою, Юрка отходил в сторонку и помалкивал, делая вид (он же техник), что чем-то очень занят. И Иван тоже. Они не залезали коняге под брюхо, они просто говорили: «Мы не умеем обращаться со скотом. Не будем вам мешать!» А когда мы оторвали одной кляче хвост и та завопила, заорала человеческим голосом на всю тайгу, Юрка брезгливо бросил:

— Как вы бессмысленно жестоки!..

Он подошел, снял с этой клячи свой тугой, как футбольный мяч, рюкзак и ушел вперед. Но, может быть, эта коняга оттого и подыхала, что через силу,

храпя и взъекивая селезенкой, тужилась под его рюкзаком?

В тот же день бельмастый меринок распластал себе брюхо и его пришлось пристрелить. Юрка заорал на нас, выкатив глаза, заорал так, что внутри у меня похолодело.

— Плебеи! — изгибался его рот, ломались брови, и всего его колотило, душило. — Плебеи, вы навсегда останетесь такими!

— Какими? — не понял Витька.

— Тупыми... слепыми, — кричит Юрка. — Вам велели, приказали вам пробиться к реке, и вы ломитесь, пупки себе сорвали. Знаете только метраж... метраж и деньги!

— Да! За деньги продались, — заверещал вдруг Иван. — Каждый месяц по шести тысяч зарабатываете. На брата!

— У нас котел, — пробасил Петро. — А раз котел, то всем поровну.

— Ты зачем коня убил, а? — подскочил ко мне Юрка. — Зачем ты его убил, а не дал ему сдохнуть своей смертью? В благородство играешь, а сам... оскотинился!

— По шести тысяч за месяц рвут, а тут две с половиной не получается, — поддает Иван.

Не слышу, оглох и почти не вижу — ослеп, а внутри, — из глубокой темной пустоты пророс и завибрировал тонкий, пронзительный визг, противный и дрожащий, как жало, и он заполнил меня всего, застилая глаза и уши. Передо мной светлела, неясно и расплывчато, наглая тугая морда, и я бил ее наотмашь, бил, ожидая, что освобожусь от визга... Потом в меня хлынули прозрачный и холодноватый свет и четкие льдистые звуки. Четыре коня выбирали траву меж кочек, позвякивая удилами, меринок лежал на боку, отсвечивая бельмом и радужной слезиной, такой

крупной, словно из-под века выкатился глаз, впервые увидевший и эту опушку с корявыми, засохшими елями, и ручей, пробирающийся по мякотине болота, и нас, опустившихся на валежины. В слезине отражалось небо и тяжелые лапы елей, их остроконечные макушки, и кедровка, что присела на березку, заверещала во все горло и, перескакивая по веткам, сбросила жухлый, замедневший лист, и тот нырками, боком опустился на землю; в слезине вспыхивало и мигало солнце. Наверное, оттого, что слезы долго остаются живыми.

— Гады вы... твари вы неумытые, грязные скоты, — всхлипывает Юрка, и я вижу только его спину, аккуратно подбритый затылок и чистую круглую, как у женщины, шею, и широкий зад, обтянутый штанами, и легкую ковбойку. И вижу Витьку с жиденькой бородкой и его лицо, заляпанное грязью, мокрые волосы и в них порыжевшие хвоинки, а на лице прилипшую паутину. И Петро в рваной брезентухе, и Гоша в истлевших гремящих брюках. У нас не было мази от гнуса, ее доставали тогда из-под полы, в Москве, и мы спасались в брезенте, натягивали брезентовую робу, когда в тайге сгущался воздух в сорокаградусную жару, и мы глотали его, как теплый бульон, где плавали мокрецы и мошка. Распаренные ноги прокисали в резиновых сапогах, а Юрка с Иваном носили легкие рубашки и ботинки, у них была мазь, и они мазались ею с ног до головы, чтобы, упаси бог, до них не дотронулся комар. У них был свой котел на эту мазь, и, где они ее раздобыли, одному черту известно.

«Плебеи!» — так он кричал в мое потное, грязное лицо, а кем он был сам? Кем? Значит, он считал себя кем-то другим, выше и ценнее нас, так, что ли?.. Нет, меня не потрясло презрительное «плебеи», во мне закричало другое: значит, он вынашивает, пестует в себе презрение к нашей грубой лошадиной работе, но ведь без этой работы нет и не будет никого: ни Галкина с

его гипотезами, ни Баскова с его методикой, ни Рудкевича с его эрудицией, ни Леонида Ивановича с его поисками. Да назови ты меня, как хочешь, но не грязни мою работу!

А через день мы вышли в просторную долину реки Вож-Мур с четырьмя конями, горячие и остервенелые. Прямо в робах, свитерах, болотных сапогах мы бросились в воду, в простор реки, что открылся нам после сумерек и духоты тайги, погрузились до дна и всплыли.

Потрескивал и ярился костер, и мы придвигались к нему все ближе и ближе, протягивали руки и грели спины. Подсыхали на ветерке брезентовые робы, а на углях пекся шашлык из меринка, расквитавшегося с нами той крупной слезиной. Рвет зубами дымящееся парное мясо Иван, двигает челюстями, Петро посыпает солью двухфунтовый бифштекс, а Юрка держит маленькие куски на тоненьком отструганном сучочке и аккуратненько кладет в опухший, обиженный рот. Плебеи сидят на корточках голяком, а Юрка разгуливает в джинсах и голубенькой рубашонке, что вытащил из тугого рюкзака. Нам не во что переодеться: все сопрело от пота, расплозлось по швам, сгорело, на теле нашем ветошь — плевать!

— Не нравится мне у Галкина, — жалобным голосом тянет Иван. — Одержимость его — фикция. Туда-сюда мечется, болтается испорченным компасом, а за душой — пустыня. Играет в идеи, а идеям-то грош цена...

— Неделю назад ты зад ему лизал, — мстительно напомнил Витька, — «Семен Львович, чаек! Семен Львович, сахарок... Прошу, вот сухари».

— Так это юмор! — поморщился Иван. — Я с первого дня его подначиваю, только не доходит до него.

— Ну, если не доходит, зачем подначиваешь? — спрашивает Петро. — Начальник передал в наш отряд

окорок, вы его втроем сожрали, а кость обглоданную ты Гаалкина попросил нам передать. Вот ты говоришь: дурак он. А ты умный? Запаковал костяру, завернул в мох и сладенько так попросил: «Передайте, Семен Львович, мальчикам, пусть полакомятся!» У него, бедняги, волосы дыбом встали, когда я кость развернул. Ты что мне ее, как собаке, бросил? А?

— Да шутка же, — вставил Юрка, отрывая кусочки конины. — Почему юмор до вас не доходит? За окорок с нас начальник вычтет, тебе нечего болеть... Юмор!

— Я тебе юморну! — поднялся Витька. — Ты же знал, что у нас жрать нечего, а вас так пронесло, что три дня вылеживались.

— То с ягод нас, — уточнил Иван.

— Ну и молчи тогда, если с ягод! — отрезал Петро. — Хорош бифштекс! — И насадил на вертел переднюю лопатку. — Вот умну, и спать можно! Как приедем в Саратов, я сразу к матери в деревню, барана завалю и целиком его! Скоро уж... скоро домой!

Потекли разговоры о доме, о девчонках, о подружках, как они там без нас, да помнят ли, письма редки, да и что письма...

— Как приеду, сразу же в Ленинград! — сообщает Юрка. — В Эрмитаж, в театры, в картинные галереи.

— Ты давай ко мне в Москву, — приглашает Гоша.

— Нет, в Эрмитаж — Пикассо, Манэ, Ренуар... — мечтает Юрка. — Так тоскую по музыке... симфонический концерт... Григ, Скрябин, Дебюсси... — Только я ему никогда не прощу, как бы он не утеплял и не изукрашивал свой голос.

— Я тоже окунусь в искусство, — рванул мясо Иван, — но меня привлекает больше балет... а ты что, Витя, собираешься?

— Зайду в ресторан, закажу коньяку, музыку, напротив посажу девочку. Фрукты и десяток пирож-

ных... — обжигает пальцы Витька, доставая обугленный пашлык.

— Зачем десяток? — удивился Иван.

— Окурки тушить! — отрезал Витька. — В пирожном тушить окурки — высший шик! А потом два такси.

— Два? — опять поймался Иван.

— Разумеется! — солидно ответил Витька. — На одном я с дамой, а на другом мои ботинки.

Юрка встал и отошел от костра.

— Эх, мне бы ваши денежки! — затужил Иван с такой обнаженной тоской и завистью, что стало неуютно у костра. — По шести тысяч, это надо же! — поражается Иван и тоже уходит к палатке, чтоб как-нибудь пережить этот неумолимый факт.

Два с половиной месяца вроде бы и немного, но мы изменились даже внешне: тяжелее стали, грубее, в голосе хрипотца и басок, и руки в ссадинах оковали мозоли, плечи раздались, и глаза потверже смотрят, только прищуриваются слегка от дыма костров, от пога. Но только ли внешне нас прокалило, только ли на руках у нас ссадины и царапины, только ли в голосе хрипотца?

— Сибирь! — декламирует у костра Витька. — Жесткая по ней дорога, и не каждая тропа ведет к костру, нет... иная затащит в чье-то логово...

Ничего, за нами протянулся профиль в пятьдесят километров и около сотни скважин. И скважины не пусты — мы нащупали поднятие. В чем-то прав Басков, но велика ли его правота?

Речка синеватой дрожащей пастью обкусала берег, и тот молчаливо повис над зеленоватым холодком воды. Словно задремал берег, притих в покое, в несломанной августовской тишине, согретой солнцем, и вода запуталась в жестком шепотке осоки и поющих тихих струях. Ниже обрыва весь берег, глинистый и

жесткий, был изрыт медвежьими когтистыми лапами, а по росистой траве и на желтеньком теплом песке отпечатались огромные следы зверя.

— Убить его надо! — задрожал Гоша и достал здоровенную пулю. — Редкий экземпляр, если судить по следу!

— А может, пусть он живет, а? — попросил Семен. — Как на это дело закон смотрит? Их вообще-то мало что-то осталось, медведей.

— Я из-за него Москву покинул, из-за него гнуса кормлю, — отрезал Гоша и принялся лихорадочно собираться. Ружье он вычистил давно, посмотрел в ствол, щелкнул курками. — Кто со мной?

— Ты куда? — остановил его Семен. — Куда рванулся?

— Медведь там! — махнул рукой Гоша. — Шкура... шкура с когтями... с головой... Чур моя! Ведь обещали...

— Иду! — содрогнулся Семен и нырнул в палатку за карабином. Я тоже попросился, хотелось мне увидеть медведя в тайге, а не в цирке, где они зачуханы до того, что фокусы показывают. Ружья на меня не хватило, тогда я взял буровую трубу с долотом на конце.

Далеко уводил от стоянки звериный след. Вот здесь медведь поднял выброшенную на берег рыбину, съел, один хвост остался, а дальше — вытащил из земли корешок. Зверь шел не торопясь, останавливался, лакал воду, потоптал траву, отведал переспелую морошку.

Семен ухо наострил, ждет шороха или треска. Мышь пискнула — юркнула под ногами, птица крикнула — стрекотнула в кусты. Отломился сучок.

Где же медведь?

Тихо-тихо.

— А вот здесь он малину жрал! — заорал из-под обрыва Гоша. — Гляди, как он заросли крушил, а?

С корнем поедал. Где он, Женя? След прямо насквозь горячий!

— Гляди... — прошептал Семен. — Тс-с... мри!

Метрах в сорока от нас, под желто-зеленым обрывом — здоровенный зверина, бурый и гладкий. Медведь стоит к нам задом, царапает, гребет лапой, и летит земля комьями.

— Он что, мышей так ловит? — шепчет Гоша и целится под левую лопатку зверя. — Мышей, что ли, он ловит, Семен, а?

— Ти-и-хо! — приказал Семен. — Ни звука! — Он вытащил несколько патронов, глаза его сузились, покраснело лицо, и в полоску сжались губы.

— Не стреляйте, — прошу я, а сам не спускаю глаз с медведя, тот, как крот, четырьмя лапами гребет. — Смотрите... он будто клад ищет!

— Молчок! — цыкнул на меня Семен.

Нет, медведь не слышит нашего голоса, не улавливает дыхания, не чует человеческого запаха. Он просто что-то нашел, расковырял и зарычал в желто-зеленую стену обрыва. Зарычал настороженно и грозно, отошел на несколько неуверенных шагов и как-то недоуменно взгляделся.

— Забавный! — говорю шепотом, а медведь такой бурый и огромный, с тяжелыми и когтистыми лапами.

Семен и Гоша выставили стволы — ждут, как бы удобнее прицелиться. И чем дальше, тем томительнее и тревожнее растягивается время и накаляется возбуждение. Выстрел! Но я успел толкнуть Семена и ударить по ружью Гоши, выстрелившего вслед. Медведь застыл и будто прислушался. У Гоши из ствола дым, как из самовара. Зверь медленно, сонно, всем телом повернулся в нашу сторону и открыл горячую красную пасть. Семен резко вскинул ружье. Медведь подпрыгнул и скрылся в кустах.

— Ты почему помешал? Это за что же? — поразился Гоша.

— За что? — потребовал Семен.

Я молча подошел к обрыву и пошел вдоль него. Так вот в чем дело — медведь-палеонтолог!.. Он развернул, содрал весь дерн, снял плащ суглинка и вскрыл мерзлый саркофаг.

В саркофаге покоился Мамонт!

Огромный, дикий, как тундра, как необитаемый остров, целехонький шерстистый мамонт, завернутый в мерзлоту. Темно глыбится вымерший мир. Изогнутый желтый бивень рвет миллионную тьму лет, осевших над ним и затвердевших в глину, словно грозит он, распарывает день, откидывая нас в то далекое. Вот он, Мамонт! Из обрыва, из желто-зеленого суглинка видна его голова — тяжелая темная голова каменного века.

Гоша, увидев мамонта, разинул рот, хватанул со свистом воздух и задом плюхнулся в песок. Семен разжал губы и тихо прошептал:

— Мираж?!

— Мираж? — Гоша бочком подошел к мамонту и осторожно дотронулся до бивня. — Мираж? А кость-то слоновья! Смотрите-ка, — шепчет Гоша. — Глядит. Он ведь глядит на нас! Будто проснулся и сейчас встанет...

А мамонт и вправду смотрит. Словно удивляется — что такое? Но затем будто собрал, так мне показалось, все свое древнекаменное мужество и спокойно так отразил солнце от черного яблока глаза.

— Бивни-то разделим? — затормошился Гоша. — Я читал... кость-то слоновья!

— Ты! — выпрямился Семен. — Мозгля! Ты знаешь, браконьер несчастный, что этот мамонт — наука! Ты думаешь о паршивых бивнях и не хочешь знать, что у него внутри, да? А внутри, слушай, внутри у него пол-

геологии! Немедля кати в лагерь, давай сюда начальника и всех, кто там живой. Бегом марш!

Да, мамонт — это тебе не тритон!

— Слушай, — Семен говорит почему-то вполголоса. — Слушай сюда, почему этот самый мамонт всегда один-одинешенек лежит? Сколько их ни находили — всегда один...

— А сколько тебе надо?

— Не то, — отмахнулся Семен, — не в количестве дело. А человек из тех лет? Ведь мог человек попасть в такую ситуацию и замерзнуть, сохраниться так?

Семен и про медведя забыл, и то, что я помешал ему выстрелить. Достал какую-то палку, начал суглинок расковыривать. Поковыряет, в глаз мамонту поглядит, по шерсти погладит и опять ковыряет.

Басков бежит, впереди всех мчится, как молодой олень.

— Коля! Николай! — кричит Семен. — Свершилось!

— Свершилось! — буркнул начальник. — Смотри, пока глаза не выпрыгнут!

Семен вдруг застыл. Выключился из системы земных измерений и превратился в изваяние.

— Тэ-тэ! — прошептал Басков и махнул рукой. — Оставьте его на минуточку, а то обратно не включится.

Галкин начал медленно приходить в себя, румянец появился, шевельнул он пальцами, еще раз подпрыгнул и — к мамонту. Не верит! То за бивень схватится, то в глаз ему посмотрит.

— Хобот есть! — кричит Семен, и лицо у него глупое-глупое, как у новорожденного. — У него хобот есть! — и хихикает.

— Да, у него есть хобот! — твердо отвечает Басков. — Ты, Семен, вспомни, как зовут тебя, где ты находишься, сколько тебе лет? Не волнуйся да... Сколько тебе лет, Сема?!

— Двадцать шесть! — машинально произносит Се-

мен, не отрываясь от мамонта. — Хи-хи-хи! А — это бивень?! Во! Бивень ведь!

— С ума сошел! — решает Николай. — Что с ним делать, а?

— Бахни в воздух! — предложил я.

— А? Что? Кого? — завертелся вокруг самого себя Галкин, но после выстрела дуплетом взгляд у него стал осмысленным. — Смотрит, а? Глазом ведь смотрит!

— Что ты, Семен, крутишься? — ворчит Басков. — Ты фото сделал? Сделай! А теперь давай первооткрывателей снимай. — Гоша уцепился за бивень, меня посадили рядом с глазом, начальник прилег вдоль хобота. Потом поменялись несколько раз местами.

— Учти: мамонта нашел он! — Николай ткнул в меня пальцем. — Показания прессе и другим органам будет давать он, как первый очевидец. Сомневаюсь я, Галкин, чтобы ты не присвоил этого открытия.

Но Семен совсем ошалел от радости и махнул на Баскова — пускай ворчит.

Я рисую в полевую книжку поверженного мамонта. Его правая нога подвернута, а левая — напряглась и не может поднять туловища. Мамонт, наверное, бился, у него не хватило сил, и теперь он неподвижно смотрел в голубое, новое небо, в котором полыхало солнце, и проклинал его. Он грозил ему бивнем, таким желтым и уже не страшным, как ржавый ятаган янычара. Огромная голова-валун, из глыбы выглядывают черные мышинные глазки. Один приоткрыт, а другой светится и блещет на солнце замерзшим, будто неземным яблоком. Остановилось время, и мамонт смотрит на меня в прошедшем времени, в плюсквамперфекте. Нет ресниц — голые-голые глаза. А в глазах ночь и темнота пещер.

Давно то было... Так давно, что не помнят об этом ни самые мудрые, ни самые древние. Тогда и молнии

были другие: красные и зеленые молнии, и даже черные, и другие звери копытили землю и мяли травы, и другие ветры пролетали над землей, и другие реки и другие были моря. Тогда все было другим: и ночь, и день, и звезды, и рев зверей. Мудрые не помнят — у мудрости такая короткая память. Но мудрые говорят, что под другим небом, где замерзали и дрожали звезды, под другим, совсем не нашим небом вырос лед. Вырос и пополз, и прочь побежало от него все живое, в ком была кровь или зелень листа. Бежал и падал лес, и бежала, скуля, обезумевший зверь, и бежала птица с поникшим крылом. Вот тогда из бегства живого появился человек — в короткий день и длинную холодную ночь. И падал снег, и скрипел снег, и рвались и падали в сугробы огненные полосы с неба, и мерз лес, и ревел зверь. А впереди льда стелилась пустыня, а по бокам его с запада и востока раскинулись топи и зыбуны с гиблым лесом. Медленно полз лед, как обожравшаяся росомаха, как голодный январский волк. И страшно было его медлительное, нечеловеческое движение — неумолимое и слепое. Только не убегал от звенящей стужи человек, он ушел в пещеры, в глубокие норы, оделся в шкуры и в темноте пещер, задыхаясь от дыма, берег огонь, упавший с неба. Он выходил на охоту — сутулое, волосатое, невысказанное в этом мире, забавное в своей двуногости, необычное в безоружности существо, и дыбилась на нем шерсть, и ярость горела в глазах, и был он страшен, страшнее всех хищников — так страстно он бился за жизнь.

Бежали леса, проносились бури и падали на грудь человека, ревели реки, редела степь и над ревом рева глыбился мамонт, а человек, маленький и дерзкий, бил его камнем и дубиной. Долго таился он в глубине пещер, боясь тьмы и боясь света, кутался в шкуры и дрожал над огнем, Твердым кремнем он вырезал мамон-

та и саблезубого тигра, свирепого носорога, гигантского оленя и богиню земли — женщину. Близ огня, под нависшей скалой собиралась орда. Огонь угонял ночь и творил день, но билась ночь черной бабочкой над огнем, и тот гас, а люди кричали, но вновь заигрался день, а из дня рождалась ночь. А лед полз и полз. И не стало рек, и не стало леса и зверей в легкой шерсти, а лишь шерстистые, грубые и огромные звери. И человек, такой растерянный, волосатый и хищный, стал создавать богов и духов. Они заселили чашу, воды и небо, гнездились в дуплах и скалах, таились в омутах и перекатах. Они вошли в человека страхом.

Ревел тигр, ревел лев, и над ревом рева глыбился мамонт. И человек бесстрашно вставал перед его желтым, слепым бивнем. И гибли тигры, и гибли волосатые глыбы, а человек стал медленно выползать из тьмы пещер, стал крепнуть и свергать богов. Бежало солнце, и бежали, обгоняя друг друга, поколения. А потом солнце опалило землю и сожгло лед. Он исчез, но остались зима и лето, весна и осень. Остались ночь и день — слишком много ночи, и много зимы. И немало еще в нас осталось древнего, жесткого, и не скоро нам избавиться от мерзлоты.

Нашли мамонта... В его облике, диком и могучем, угадывалась такая древняя жизнь, словно просматривался и виделся тот, уже ушедший мир. Мы словно заглянули в свое пещерное прошлое. А мамонт лежал, как глыба былого, лежал поверженный, в мерзлом саркофаге.

Дали радио в Москву, сообщили в Ленинград, два дня фотографировали тушу, рисовали ее, измеряли. Обнесли загородкой и берегли, чтоб не растаял, не то поздние мухи растащат по крохам.

— Какой же он породы, Семен? — спрашиваю его.

— Какая разница! — махнул руками счастливый

Галкин. — Изумительный экземпляр! Но тает, как мороженое. Боже мой! Что делать?

Баскову мамонт тоже понравился. Он еще ни разу не видел мамонта.

— У меня чутье, — сыпал скороговоркой Галкин. — Моя точка зрения такова, Николай Владимирович: ледник шел с северо-востока. Центры оледенения — Таймыр и Полярный Урал.

— Какой здоровый! — поражается Басков. — Ужас просто. Шерстку возьму на память, а? — Потом задумался и как-то грустно произнес: — Уже из Москвы вылетели. Вот-вот тронутся из Ленинграда. Эксперты будут не дай бог. Посмотрят, постучат — определят, что это за чудище. Пронюхают всего, распотрошат да... Только вот что, — замылся он. — Соберем совещание, а кто работать будет? Сейчас август, а работы сколько — пятьсот километров на полтора месяца!

— Так ведь мамонт! — завопил Галкин.

— Мамонт?! Ну и что? У нас не мамонтовая партия и не палеонтологическая, а государственная съемка. А кто карту делать будет — мамонт? Сенсацию из поля привезем? Бум?! А где карта? Должны-то мы в первую очередь поднятие выделить. Смотри, уже середина августа...

Появились звезды, хрупкие, льдистые. Август. Дивный месяц созревших ночей, месяц-ягодник, месяц-грибник, обильный, плотный, сытый, лилово-фиолетовый и многотравный. Все, что распускалось, гнало себя из семени и перегоняло соки, теперь покойно оформлялось, отяжелело: налилась соком голубика, оставляя на камнях лиловый след, брусника капельками крови прострочила мхи, проходишь по черничнику, и сапоги по колено в соке и ядрышках, и липучая сладость ягоды схватывает хвоинки и стебельки. Когда пересекаешь ручей, от голенищ, отслаиваясь, разбегаются радужные пятна. Голубика, брусника, княженика —

россыпи ягод, пласты, острова и реки. Моховые кочкарники шоколадно теплеют на солнце, обнажая мякоти́ну торфа, издали янтарно желтеют морошкой. Но она потихоньку отходит, перезревшая ягода падает, и далеко отдается ее терпкий винный запах. В темной стене обрыва будто вкраплены малиновые серьги и золотится опавшая морошка. Созрели кедрь, светлеет кофейная шишка, росинками подсыхает смола, раскрываются, расправляются чешуйки — шишка кажется немного сердитой. Тяжелая такая, с взъерошенной чешуей. И вновь, подтверждая бесконечную целесообразность и законченность таежного мира, в зрелость кедрь подули, задышали ветры. Упруго, не ослабевая напирал и нажимал зюйд-вест. Ветер ворошил облака, бил и выбрасывался тугими зарядами с грив вниз, к подошве, скатывался, хлестал, выливался как бы ливнем, сплошным ветренным потоком. Ветер-ветропад. Не жестокий, а упругий, он раскачивает огрузившие кедровые лапы, и те наотмашь гибко хлещут друг друга. Бьется шишка в туго натянутую палатку, бьется спело и скатывается во мхи. Рассеивает ветер орех по склонам, забрасывает его в лощины, в горельники и буреломы, закидывает, как из пращи, в каменистые расщелины. Так было и весной, в июне. Тогда тоже разливался, плескал зюйд-вест. И гнал перед собой, раздувал золотистое, невесомое облако пыльцы, а оно клубилось, вспыхивало на солнце и оседало, окропляло лес, и кедр будто освещался. Разносит ветер семя и плод, насыщая лес, болота, проникая в камень.

Сейчас лес — кедрячи-брусничники, пихтачи-долгомошники, влажные ельники, осветленные августом сосняки, молодые березняки на ветроломах и горельники — полон птицы. Лес будто огрузнел от нее, закрылился дичью. Лишь из тумана приподнимается солнце, в малинниках, среди рябин утреннюю настоянную тишину разрывает пронзительный, почти мальчи-

шеский посвист рябчика. Свистнет, послушает, опять свистанет, чистенько разрежет холодную льдистость утра, ему ответит второй, третий — тоненькая такая свистулька у рябчика. Пошумят, пошебуршат в ветвях, и уже стайка, табунок мягко перепархивает с поляны на поляну, выбирая ягодное место, пьянит рябчика голубика. А на зорьках, когда рябчик забирается в ольху, вызываешь его манком. Глупый он совсем от полноты жизни, оттого, что стал на крыло, оттого, что сердечко налилось августовской песней. Куропатка вышла с выводками из тальников в горельники да на каменные россыпи, где гранатово налилась брусника. По зорям куропачи дико вскрикивают, прямо орут — то ли кашель, то ли ржанье. На поляны-ягодники, где повыше травостой, выводит копалуха молодых глухарей. Они чернущие, обугленные, как головешки, с сизым окалистым отливом, костявые, и перья на них жесткие, но редкие, будто платье с чужого плеча. Квохчет, кудахчет копалуха, шипит, вытянув шею, пытается удержать их выводком, гнездом, а те шарахаются вроссыпь. Ростом они больше матери, на голенастых ногах, узловатых и облезлых на коленках. Взлетит на нижний сучок, тот хрустнет под ним, и глухаренок вниз головой, штопором вонзается в мох. А те, кто доберется до верхних ветвей, схорониться никак не могут — вертят башкой в разные стороны и тарашатся, бровки красные подымают, пижоны.

Принесешь в лагерь полуживого, обалдевшего глухаренка — у собак вожжей слюна из пасти, клыки щелкают капканом, глаза горят, плавятся желтым огнем — медовые глаза, а кончики хвостов мелко-мелко вздрагивают. А морда-то, морда умильная, ласковая, облизывающаяся, с дрожащим носом — «дай, дай хоть разок куснуть! Куснуть дай, а то сердце разорвется!» Принесем в лагерь сову, та сама на них вылупится, щелкнет, заскрипит — пропал у лаек аппетит.

Созрела ягода, встала на крыло птица, за рябчиком, глухарем потянулись соболь, куница, кидус, горностаи, за кедром нахлынули белка и бурундук, в тучные травы вышел сохатый, а за ним хищник. Август... Такая теплынь, просто не верится, как долго тайга может держать тепло. Хорош август!

Двадцатого августа на реке приводнилась «аннушка». Из самолета вдруг выпрыгнула наука — Казанкин и Светка.

— Театр будет! — предсказал Басков.

Они были исключительно любезны, корректны и, судя по улыбке и рукопожатиям, хотели понравиться нам. Разбили лагерь в десяти метрах к северу от палатки начальника. Светка в первый раз попала в тайгу, удивленно раскрыла глаза и забыла их закрыть. Она заметила бородатого радиста Гошу и приняла его за натурального таежника.

— Как вас зовут?

— Гоша!

— Гоша? А не Георгий?

— Меня все зовут Гоша, — отрезал таежник. — Чем же вы лучше? — Он просто решил, что знакомство нужно начинать решительно и грубовато.

— Это что? — ткнула пальчиком Светка.

— Елка.

— А это?

— То лиственница!

— Такая высокая! Это можно жевать!

— Жуй! — И Гоша ногтем отколупнул ей живицы.

— Какая прелесть? Это сосна?

— То кедр! У сосны лапа другая!

— Что за птичка?

— Это не птичка, это кедровка. Сволочь, а не птица! — Гошу по утрам будили кедровки, как раз в самую сладкую пору.

Светка светилась от восторга, шмыгала носом и

чуть не плакала от радости, увидев нас, но старалась не подавать вида.

— У вас сейчас будни? Да? — черпая ложкой щи и проливая их на свитер, пытается Светка.

Не дослушав ответ, Светка подпрыгнула к Галкину, взяла его за руку и, заглядывая в его желтенькие глазки, заторопилась:

— Скажите... скажите, пожалуйста, была ли борьба? Были ли у вас друзья? Враги? И как вы преодолели? Ведь вы победили, Семен Львович? — Галкин переступал в своих сорок пятых сапогах, мялся, что-то хмыкал под нос. — Как вы нашли его? Как вы подошли к открытию?

— Я создал гипотезу, — хрипло, глядя исподлобья таежным волком, забасил Семен. — Построил методику, по которой мамонт сам полез в руки, — и захотел он отойти, но Светка вцепилась в его рукав острыми узкими коготками.

— Для этого многое нужно знать, не правда ли? — застрочила она. — Или нужно чутье? Скажите?! — И Светка умоляюще склонила головку, полуоткрыв ротик. — Наверное, нужно долго и мучительно думать? И интуиция...

— Интуиция? — встревожился Галкин. — Нужны знания! Воля! Упорство! А чутье — дело пятое. О чутье говорят только бездарные журналисты, те, кто не понимает наших душ!

— Но мне кажется, что интуиция... — опять попыталась развить чью-то мысль Светка... — Вот у вас работает Евгений...

— Никакой интуиции! — отрезал Басков.

— Совершенно верно! — подхватил Казанкин, протер очки и потянулся к блокноту. — Прежде всего методика! Альфа и омега всех дел. Но какова она? — обратился он к Семену.

Тот вдруг взмахнул руками и выпалил:

— Ничего я вам не скажу! Да, ничего!

— Сложный субъект, — бормочет Казанкин, оглябая палатку начальника. — К нему нужен очень... очень тонкий подход. Ну ничего! — И умно, тонко улыбается.

Светка победоносно смотрит на нас. Ее тонкое лицо светится, но мы не поймем почему. Она включает музыку.

Гошу оставили караулить мамонта. Но он не выдержал музыкального напора цивилизации и приволокся в лагерь, встрепанный и растревоженный.

— Хочу танцевать! — заявил он.

— Как ты смел оставить свой пост? — разозлился Галкин. — Тебя куда поставили?

— Караулить! — вытянулся по швам Гоша.

— Кого караулить?!

— Мамонта!

— От кого караулить?!

— От дикого зверя и от науки, — искренне проболтался Гоша.

— А ты? Марш на место!

Казанкин и Басков вместе с Семеном смотрели глину, шупали и изучали гальку.

Утром отправились к мамонту. Впереди Галкин, за ним начальник с молчаливым Казанкиным. Затем мы шумной толпой, Светка, что пыталась заигрывать с Юркой, а сзади плелись собаки.

Чтобы сберечь мамонта от жаркого солнца, от поздних мух и слепней, над ним соорудили балдахин из пихтовых и кедровых лап. Мамонт лежал под ним как падишах. Около балдахина развалился Гоша — он спал, открыв рот, широко раскинув руки. Мухи с ног до головы облепили Гошу, а он только всхрапывал, аппетитно шевелил губами. Наука увидела мамонта и остолбенела, полчаса стояла неподвижно, безмолвно, как в почетном карауле. Стоят и смотрят в черный застывший

глаз. Может быть, оживить его хотят гипнозом? Жужжит тихонько кинокамера, захватывая на века допотопное чудище.

— Товарищи... То-вари-щи!— задыхается Светка.— Какое замечательное событие! Мы... да разве кто... кто видел такого мохнатого мамонта?

— Видели уже,— буркнул Галкин.— Только не здесь. Смотрели-смотрели все на мамонта и вдруг видят: нет одного бивня.

— Где бивень?— захрипел и схватился за голову Семен.— Где бивень?— трясет он сонного Гошу.— Кто выдрал бивень, страж?— забился Галкин в крике. Даже нехорошо всем стало.

Гоша ничего не понимает спросонья, таращит глаза и ртом хлопает:

— Где? Кого? А?

— А он действительно был, тот бивень?— тревожно спрашивает Светка и заглядывает в трещинки обрыва.— Был ли, ребята?!

— Осмотреть место!— и; иказал Басков.— Стоять и не двигаться. Не следить.

Уткнулись все носами в землю.

Около мамонта обнаружили следы — отпечатки каблучков. Следы привели прямо к правому глазу мамонта.

— Когда вы здесь были?— надвинулся на Светку Галкин.

— Я никогда здесь не была!— выдохнула Светка.— Не была!

— Когда ты здесь была?— не разжимая губ, повторил Семен.

— Отвечай!

— Какая-то мистика?!— пробасил Казанкин.— Мы что, по-вашему, бивни ворует?

— Я не была здесь! Не была!— зарыдала Светка.— Я даже не знаю, где сейчас лагерь и ку-да ид-ти-и!

— Проверим! — пробасил Галкин. — Гоша, за мной! Они отыскиали след, Гоша зашмыгал носом и зарычал: — Теперь не выпустим!

След вел к палатке Казанкина, причем чем ближе к лагерю, тем глубже вязла туфелька во влажную землю.

— Устала... гляди? — шипит Гоша. — Мускул в ней слабый, но та-щит!

След уперся в палатку и оборвался.

— Где бивень? — ревет и бушует Семен. — Где спрята-
ла?

Около палатки каблучки потоптались — так читался след — и резко свернули вправо к реке. Галкин встал на четвереньки и прилип взглядом к земле. Пополз.

След привел к берегу.

— Ага! — поднялся Семен. — Вот оно!

Там, где река делала излучину, на широком галечном пляже показалась невысокая каменная тура. Раньше ее здесь не было, и след сразу же потерялся среди сухой гальки.

Мы брели вслед за Галкиным. Не смотрели друг на друга и ругались. Все, Казанкину — гибель.

— Где это видано? — всхохатывает Иван. — Научную ценность воровать, лишить такого факта? Как не поджентальменски!

Галкин рванулся к туре. На плоской поверхности мягкого сланца начерчена стрела — северо-запад, триста двадцать градусов. Под камнем мятый лист бумаги. Красным карандашом написано: «Бивень хотят увезти». Почерк незнакомый.

— Так... — задрожал Семен. — Наука напала на производство! Так это понимать или не так?

— Чудовищно! — побледнел Казанкин. — Это провокация! Это инсинуация!

За огромным кедром все увидели бивень, темный, как ствол секвойи.

— Так,— протянул Семен.— Ну что теперь вы скажете?

— Неужто они могли такое сотворить?— шепчет мне Басков.— Зачем, Женя, им бивень понадобился?

И тут Юрка, усмехнувшись, повернулся к Витьке:

— Ты, Вить, зачем бивень спрятал?

Все взгляды устремляются на Витьку. Он пытается улыбнуться, но улыбки не получается.

— Хотел разыграть, но... вижу: хватил лишку. Черт знает какой бес попутал...

Ну, что прикажешь делать с этим дурнем! Ведь знал же, что дорого ему обойдется этот розыгрыш!.. Впрочем, по лицу Баскова я вижу, что лихой шутник, возможно, будет амнистирован. Но уж Казанкин-то ему не простит!..

...Конец августа залил нас дождями. Сентябрь бил холодом, а октябрь упал снегом. Мы вышли из тайги, а за нами протянулся профиль в семьдесят километров. Сбежали лошади: не выдержали человеческой работы. И тащили парни инструмент на своих плечах, через полкилометра разбуривая скважины в тридцать метров. Мелко? Да, мелко, мелко в пятьдесят шестом году, но беспредельно трудно. И разбуренный профиль зазвучал как классика: он открыл поднятие, он открыл нас.

Мы еще вернемся сюда. Вернемся и пойдем дальше, и навсегда станем сибиряками. Этой земле нужно так много человеческого тепла.

Уходил сентябрь. К теплому морю уносилась птица. Небо низко нависло над холодом рек. Задымились, закурились в тальниках туманы, нудно морося дождем и шурша травами. В наши северные широты потянулись молодые специалисты — навстречу времени, зиме, навстречу судьбе.

Рядом с нами в пустовавшей комнате поселились молодожены, неуклюжие и забавные в подчеркнутом внимании друг к другу, что рождается лишь в медовом месяце, уморительно серьезные в исполнении новой, но крайне важной для них роли. Они разыгрывали жизнь по своему сценарию, без суфлеров, прочитывая руководства по здоровой пище, гигиене и прочим вопросам, но в основном ориентируясь интуицией, необъяснимым инстинктом, который уже все знает заранее.

Иван вставал в темноте, в шесть часов, не торопясь делал зарядку, затем обтирался, слышно было сквозь стенку, как он фыркал, отдувался и по-детски радостно и счастливо вздыхал, притаив смех. Я знал, что на лице его в эту минуту — безмятежность и спокойствие, та доброта, что живет только в сильных парнях.

Он всегда и везде улыбался дружелюбно и доброжелательно, это его украшало и внушало доверие, а говорить его особенно не тянуло — улыбнулся тебе, и хватит. Откинув назад русые волосы, Иван трогал себя за нос, большим пальцем почесывал подбородок и слушал, что говорит жена. Валя, матово смуглая, тоненькая, по-девичьи хрупкая, казалась выше Ивана ростом. Наверное, оттого, что была категорична. По любому,

даже пустячному, делу она имела свое мнение, ибо считала, что без мнения нет человека. С Иваном хорошо помолчать за шахматами, а Валю, несмотря на ту чопорность, которую она придумала себе после свадьбы, не стоило труда завести, и та вспыхивала, сверкала глазами и, опираясь, за неимением опыта, лишь на пьедесталы идеалов, принималась крушить, дробя все в щебенку: нашу житейскую практичность, которую принимала за мелочность, нашу «узкотемность» и приземленность.

Еще не заведя широких знакомств, они по вечерам навевываются к нам. Она поправляет на Иване галстук, глазастый и блестящий, как павлинье перо, быстрыми пальцами подтягивает расплющенный узелок, завязанный на веки вечные, проводит ладошкой по его плечам, незаметно одергивает пиджак, и все это одним цельным, неразрывным движением, и, когда Иван получает разрешение сесть, неуловимо сбрасывает его локти со скатерти. Иринка, жена моя, почти одновременно то же самое сотворяет с Веркой — та забралась с ногами на стул и, подперев мордашку ладонями, в упор уставилась на Валю, разглядывая серебряную диадему в иссиня-черных волосах. Верка пытается возмутиться и тарашит глазенки, чтобы залить себя слезами, но Иван подмигивает ей по-свойски и вынимает из кармана леденец.

— На! Не плакай, — мягко басит Иван. — Поди, только плаксы ревут. Да бегемотики, когда у них животики болят.

Верка берет конфету, надувает помидоринами щеки, идет в свою комнату, гремит там игрушками и возвращается, таща за лапу безухого медвежонка.

— На, играй! — приказывает она Ивану и опять глядит на Валю, распахнув рот. Иван плотно уселся за столом, но не знает, куда девать руки, он медленно поворачивает шею в жестком, накрахмаленном воротнике.

— Кур! — я пододвигаю ему пепельницу. Он под-

нимает на Ваю глаза, та молча кивает. Иван закури-
вает, вслушивается в светскую беседу — о дождях, о по-
годе, о здоровье, улыбается, но как-то обреченно,
костюм торчит на нем коробом, и кажется, вот-вот
загремит брезентухой или жестью, настолько он нагла-
жен и неудобен. Иван залезает в книги, вынимает их
осторожно, будто пробует, ощупывая, как зерно или
созревший плод, и, полистав, еще раз взглянув на за-
головок, со вздохом ставит на полку — пошелестит,
вдохнет, опять пошелестит.

Валя настороженно прислушивается к каждому его
движению, ко вздохам, похожим на всхлип, но, прислу-
шиваясь, доверчиво раскрывает нам свои маленькие
тайны, планы на ближайшую неделю и более глобаль-
ные — до зарплаты, на месяц, а потом, зажмурившись,
сознается в том, что намечено ею на год. Дальше она
не позволяет себе заглядывать, но то, что охватывает
год, так полно и плотно, так широко и глубоко, трудно
и интересно... Но они исполняют: «да-да, ведь когда так
горячо хочешь, всегда сбывается. Здесь начнутся наши
биографии!»

— Вы только не улыбайтесь так саркастически, —
исподлобья взглядывает на меня Валя, откидывает за
плечо косу и, заволновавшись, заторопившись, стано-
вится словно еще тоньше. Голос звенит: — Вот вы улы-
баетесь, но напрасно. Английский за год — это реально,
тем более что мы еще его помним, для перевода со
словарем, разумеется. Затем, — она пригибает, утопив
в ладони, второй пальчик с посеребренным ногтем, —
затем философия: Гегель, Кант, Фейербах...

— Дядя, а дядя! — Верка липкими руками дергает
Ивана за штанину. — У вас есть мальчик?

— Нет у нас мальчика!

— Ну, тогда хоть девочка есть у вас?

— Вот вы, Евгений Петрович, читали в подлиннике
Гегеля или Канта? — в упор спрашивает меня Валя.

— Не знаю немецкого, — увиливаю я. — Да и Гегель весьма сложен и противоречив... да и в нашем деле, в геологии...

— Вам просто не повезло, да, — успокаивает она меня и смотрит так укоризненно, что я чувствую себя тупицей, лодырем, самой обыкновенной свиньей. — Сколько вы работаете? Десять лет? И еще ничего не открыли?

Остается лишь пожать плечами и развести руками, обозначая пустоту.

— Тогда хоть кандидатскую-то вы защитили? Странно... Ведь вы же главный геолог! ...О, простите, я позволила себе быть нескромной. Но для степени не так важны открытия... — И смотрит подозрительно, как смотрят на самозванцев и на тех, кто дуриком занимает не свое место. — Север ведь только открывается!

— Конечно, мы готовим его под открытия! — смеется Иринка, расстилая скатерть. — Сейчас будем чаевничать!

— Мама, а у дяди ни девочки, ни мальчика нет, — принимается ябедничать Верка.

— Вы ходите на коньках? — обращается ко мне Иван.

— Нет, — отвечаю я. — Я хожу в магазин.

В окна хлещет дождь. Он льет без передышки, беспросветно уже целую неделю, переполнив поселок грязью, и та выплескивается из дороги, как из реки, заливая деревянные тротуары. В окна хлещет темная, холодная осень, срывающая пожелтевший лист, а на белой скатерти среди хрусталя и фарфора пофыркивает самовар, выпуская из себя уютный парок.

— Боже мой! — хлопает в ладони Валя и прикладывает их к груди. — Какая прелесть! Я всегда так представляла провинцию: вечер, за стенкой притаилась осень, падают дождины в грязные лужи — и самовар, — смеется она тихо. — Звучит провинциально, не правда ли?

— Отчего же. Нисколько. С ним уютнее, — отвечает Иринка. — Когда осилите Гегеля, самовар покажется вам дорогим и самым русским... Ну а что же, кроме серьезных материй? — небрежно продолжает Иринка разговор о планах, но я вижу, что она налилась желчью и ей плохо.

Колька баском зовет из комнаты. Иринка бросается к нему, потом выскальзывает в кухню с мокрой тряпкой и появляется уже с Колькой — сонным, припухшим, сладко причмокивающим. Потные волосенки завились, хохолком приподнялись над чистым розовым лбом, и Колька улыбается, показывая шесть своих зубов.

— Кроме серьезных аспектов, Ирина Васильевна, — Валя наполняет свою чашку и мимоходом отодвигает от Ивана торт. — Кроме того еще музыка. — И она мечтательно и томно вздыхает. — Музыка... Григ... Скрябин... «Есть в светлости осенних вечеров томительная...» да... да... что мы зовем «божественной стыдливостью страдания». Музыка и стихи — органичны. «Душа, душа, спала и ты, и что тебя сейчас волнует?» Как это прекрасно!

Колька забрался к Ивану на колени, приподнявшись, добрался до его лица и принялся выкручивать ему нос, потом пытается залезть в незнакомый ему рот, отгибая чужие губы.

— Гам-гав, — рычит на него Иван, а Колька беззвучно и безудержно смеется, просто от смеха колотится и пружинит на упругих ножках.

— Держись, — говорю Ивану, — поддаст на брюки, у него это ловко получается.

— Язык, философия. Музыка и стихи, да. Но, Евгений Петрович, главное — работа, — продолжает раскрывать свою позицию Валентина. — Мы так мечтали о Тюмени... Ваня просто ею бредил, и я даже начала ревновать его, уверяю вас. Разумеется, я не стала устраивать ему сцен, когда он отказался от аспирантуры. — Она

затягивается сигареткой, но строго взглядывает на мужа и кладет пачку ближе к себе, — и он мне обещал. Да что там обещал — он поклялся мне открыть здесь нефть. Понимаете?.. Поклялся! — И поглядев на меня с тревогой, настороженно и смущенно спрашивает: — Здесь ведь еще не все успели открыть, правда? А то все всегда достается первопроходцам — ордена, слава, степени... И не успеешь оглянуться, как все открыто...

— Успокойтесь, милая, — смеется Иринка, обнимая ее за плечи. — Хватит на Ивана открытий. Всем хватит, здесь еще не открытая страна.

— Да-да, Иван так и сказал: «Я подарю тебе жемчужину Оби»

— Он поэт, — грустно и чуть печально улыбается Иринка. — А поэты всегда нетерпеливы. Но вам года не хватит...

— А вы знаете, у нас диплом и свидетельство о браке одним числом, — неожиданно сообщает Валя. — После защиты. Запыхались, едва успели... в загс... и шампанское. А никто не знал, отчего мы так хохочем...

— Да, года вам не хватит, Валюша, чтобы притереться друг к другу. Не говорю уже о том, чтобы поглубже узнать себя, — Иринка искоса взглядывает на меня. — И не до музыки вам будет... Вера! Спать! — приказывает она.

Перед приходом «молодых» мы крупно — который уж раз — поссорились.

«Последний раз я скажу, кто ты! С тобой я похоронила молодость! Ты эгоист! Ты бездушность! — выкладывала Иринка, бледнея и стараясь удержать слезы. — Десять лет я потратила на такое ничтожество! Ты бездарь! — Она почти кричала. Нет, она действительно орала. — А я любила тебя. Но за что же, господи! За что я любила его?»

И я, в чем-то оправдываясь, извивался в кольца, выкручивался. «Подожди. Будет нефть. Вот-вот! Только

не пори горячку». Я ведь тоже когда-то обещал ей жемчужину Сибири. Мы тоже собирались заниматься языками, выпитывать стихи и, подняв лицо к звездам, слушать музыку космических бездн. Но наши биографии оказались банальнее и труднее, чем рисовалось, — работа, заботы и бесконечность поиска.

«Грязь, мороз... стужа, снега, за что? За то, что придумала тебя! Все, я ухожу!» — И уставшая от работы, от ребят, от меня, пронзенная вспыхнувшей жалостью к себе, к уходящей молодости, к своему тридцатитрехлетию, она бросилась собираться к матери, в который уже раз наклонилась над распахнутым чемоданом.

Колька ползает на полу и пытается лбом проломить стену, бьет в нее головой. Верка дразнит шпагатинкой котенка, а чемодан раскрыт.

За стенкой бесконечная хлябь, а меня срочно вызывают на буровую. Фонтан... Мой фонтан! Где ты?

Забуранил ноябрь, поднялся сугробами декабрь и мигал-подмигивал серенько коротенький январский день. Но жарко мне было в ту каленую февральскую ночь, когда зафонтанировала скважина и нефть была чернее черной ночи. Она съедала, проглатывала снег и дымила подземельным паром. Нет, десять лет моих были не ожиданием, а непрерывным поиском. Я искал ее, а не ждал. И вот мы ее нашли!

За стенкой у соседей по вечерам слышится английская речь, обрывки фраз, резкие, словно команда. Доносится музыка, прозрачная и чуть холодноватая, как обледенелая дорога в никуда. Сократ спорит с Платоном, диалектика с метафизикой, из философских джунглей вдруг прорвется тропическая непостижимость Имы Сумак. И все стихает. Там, за стеной.

А Колька мой цепляется за ноги, и у него полон рот зубов. Иринки нет, пришла телеграмма: «Родной ты мой, диссертацию всеми голосами».

Иван на неделю выехал на буровую. Застрял. На полмесяца. Валя, ожидая его, бегала по магазинам, развешивала шторы, расставляла керамику «под греков», тащила продукты, забегала к нам на минутку и, засияв-светясь, сообщала: «Завтра Ваня будет! Ой, завтра!»

Мороз скрипит в деревянных тротуарах, забирается в мохнатую собачью шерсть. Снег жестко осыпается с крыши. Поднимается столбом дым, и от него падает тень, а дым не опускается, забирается все выше и там невесомо, неуловимо оборачивается туманом. Будто присели дома, и окна закурчавились снегом. По мягкой, заиндевевшей улице пробегают закутанные по глаза люди, и дышат они в воротники, в шарфы, в лохматые свои рукавицы.

Взвизгивает мороз собачьей стаей. А Валя каким-то фантастическим случаем раздобыла цветы, и в холодную комнатенку пришло лето. Пришло хоть на вечер, хоть на миг. И они казались чудом рядом с окном, где на голубоватом стекле зима раскинула морозный узор.

От этих цветов спирало горло.

Около дома притормозила машина, крытая брезентом. Из кузова вывалился промерзший Ваня. Ресницы слипались от мороза, и весь он словно заостенел, не мог разогнуть руку и сжать растопыренные припухшие пальцы. Двигался не разгибаясь, деревянно передвигая ноги, и те будто похрустывали. Слышно стало, как он покашливал за стеной, шуршал, скрипел стулом, стаскивая, придыхая и постанывая, унты, а те каменно, обледенело стучали об пол. Ваня пошарил по комнате, побродил и прилег в постель под одеяло.

А потом проскрипели ступеньки под нетерпеливыми шагами. И от порога, не закрывая двери и распахнув платок, Валя крикнула: «Ваня... Здравствуй, Ванюша!» Но ответа не слышно. «Что с тобой? Ты охрип, ой, Ваня! Потерял голос, боже мой. Не опасно? Не надолго? Ты кричал?» — Заторопились по комнате шаги, за-

скрипели, застонали половицы. «Ваня... Ванюшенька. Авария? Говори, не скрывай... Жертвы?»

И вздох, и стон, и счастливый смех, и слезы. А Ваня что-то хрипел, осипший.

Прошло около часа, за стеной гремела посуда, звякали крышки от кастрюль. Колька вдруг заорал, стукнувшись лбом о стенку и не сумев ее сокрушить.

— Ешь! — поднялся за стенкой густой голос, наполняя комнату. — Почему? Как? — Голос налился гневом, словно он покраснел. — Не обо-жа-ешь? Ты не обожаешь куру? Я... я целый день, всю субботу мерзла в очереди, пуговицы от шубы оторвали. А ты?! — казалось, что вот-вот она расплчется, изойдет в слезах. — Замерзла, как кочерыжка, а ты?!... Ешь! — скомандовала она и стукнула по столу сковородкой. — Или ешь... или...

Через десять минут Ваня в распахнутом пальто постучал к нам.

— Заходи! — Я провел его в комнату, он улыбнулся, как всегда, дружелюбно и доброжелательно, но сейчас улыбка не шла ему, обмороженное лицо противилось ей, мялось в гримасе. — Ну, как там?

Ваня осип, надорвал голос. Много всегда крику при ликвидации аварий, но потихоньку, прикашливая, хрипя, он рассказал, что все обошлось благополучно, двоих, однако, увезли в больницу. Иван вдруг признался, что аварию переживает впервые, никогда не думал, что с таким столкнется, и его никто не учил об этом думать. Он готовился к геологической службе — это интеллектуальная, глубоко изыскательная, камерально-кабинетная работа, а здесь — штанги, насосы, поглощения и обрыв инструмента. Но ему нравится, начинает нравиться работа на буровой. Потом пили чай, и Ваня, опустив глаза, спросил: «Ирина Васильевна, я поссорился с женой. Можно мне... Дайте ночлег».

— Что, так серьезно? — улыбается Иринка. — По крупному счету?

— Да! — отвечает он. — По крупному. И навсегда. Нам следует развестись...

— Помиритесь, — успокаиваю его. — Чего не бывает.

— Нет, мы глубоко и взаимно оскорбили друг друга. Не верите? Так вот, она назвала меня эгоистом... а я не выдержал.

— Так что же?

— Не выдержал и обозвал ее душой!

Да, видать, крупно поговорили, прямо до развода...

— Это какой осел здесь стул поставил? — вдруг спрашивает Иринка.

— Это папа! — отвечает Верка. — А вчера ты его звала «барбосом». Почему, мама?

— От любви все, — успокаиваю Верку, — когда так называют — это от любви, а вот когда на «вы», по отчеству да по фамилии, тогда все пропало...

— Она меня Иваном Григорьевичем назвала, — шипит Иван и проигрывает мне ферзя. — Это что же она — мат мне, а?

— Да, — отвечаю ему. — Детский мат в три хода. Ложись-ка спать!

Ночь он провел на полу, в спальнике, но не сомкнул глаз, ворочался, несколько раз выползал на кухню и курил.

— Ну и чудачки, — смеется в подушку Иринка. — Психи ненормальные.

— Тихо! — шепчу ей. — Она ему цветы достала. И курицу.

— А мне некогда торчать в очереди, — взвизгивает вдруг Иринка. — Только о себе думаешь. Курицу достали, ну и подвиг!

— Так он не ест ее, понятно тебе.

— Как не ест? Совсем, что ль, не ест? Точно — психи! — И опять закатывается, трясется в смехе.

Иван курил в кухне, а за стеной не умолкая отдавались шаги, одиноко слышались они в опустевшей ком-

нате, где у голубого морозного окна в нежное чудо раскрывались цветы. Утром Иван раньше времени убежал в камералку, и тут же к нам заглянула Валя.

— Он не повязал галстук,— рассеянно сообщила она.— А ботинки надел без носок.

— Вот до чего же заработался человек,— осталось мне посочувствовать.

Вечером Иван вновь сидел напротив меня и вновь проигрывал ферзя. А потом Ирина сказала: «Иван, уже поздно, нам пора спать».

— Ложитесь!— буркнул он.— Я еще почитаю.

— Но я не могу при тебе раздеваться,— заявила Иринка.— Не обижайся, я не могу тебе позволить оставаться у нас. Ты как бы вовлекаешь нас в сообщники... У тебя есть дом, тебя ждут.

— Она прогнала меня. И уезжает к маме...

— Прогнала? А ты войди!

Ваня осторожно, ногтем поскреб в дверь.

— Кто там?— чеканно, отчетливо спросила Валя.

— Я!— ответил Иван.

— Кто — я?! — холодом отозвалось из-за двери.

— Ваня!

— Что вам надо, Ваня? Что вам угодно в столь поздний час?— зазвучало ледяным голосом.

— Я больше не буду!— буркнул у двери Ваня.

— Что вы больше не будете?— отчеканила Валя, а Иван ворвался ко мне и прошептал: «Все пропало, она меня на «вы» зовет, на «вы», понимаете?»

— Но переговоры-то ведет?— поинтересовался я.— А раз ведет, так жми!

— Чего ты больше не будешь?— уже который раз выпрашивает Валя по ту сторону двери.

— То есть буду... стану... — заторопился Иван.

— Чего ты будешь?— уже с отчаянием кричала Валя.— Ответь, что будешь... и чего ты не станешь?

— Курицу есть буду!

Звякнули ключи, Ваню впустили.

— Вот бы нам так, — позавидовала Ирка. — А то тебя не тронь — первооткрыватель.

— Что ты еще не ешь!? — требовала за стенкой Валя. — Что ты еще не ешь, говори сразу. Чтобы больше я не надрывала душу о мелочи жизни! Сыр ешь?! Яйцо?! Рыбу?! Борщ ешь?

Допрос продолжался долго, и выяснилось, что Иван больше всего любит жареную картошку и кильку.

— И это все? — поразилась Валя. — Ты до неприличия неприхотлив!

— Все! — отрезал Ваня.

— Боже мой! — простонала Валя. — Месяц отняла у философии на поваренные книги...

СЛЕДЫ

Долго, уже третью неделю я ишу его, тороплюсь по следу и никак не могу настичь.

— Был?

— Был, — отвечают охотники и оленеводы. — Ушел три дня назад.

Проседает пепел над глазницами кострищ, еще матово тускнеют головешки, еще четко печатается его след на отсыревшем песке.

— Ушел... два дня ушел. Рочев его ведет, — сообщают в чуме.

Вокруг костров вылизанные псами банки. Он ел украинские борщи и ел абрикосы. Догоню его и попрошу абрикос. Хоть один.

Две недели назад на его стоянке в кусты брошены две коньячные бутылки. В них еще тлел, горчиц, затухая, запах. Смятая пачка «Шипки», зеленая шерстяная нитка от свитера. Бронзовели пистолетные гильзы, а по кустикам брусники заплетались колбасные шкурки.

И много следов... Он принимал гостей, оттого мусор и окурки на ягельной поляне посреди кедрача. Каждый курил свою марку. Махоркой дымил Канин: точно, это его окурки-бычки. И вот его след — он всегда, из сезона в сезон, ходит в кирзовых сапогах сорок пятого размера. Откуда же спустился Канин? Ивушкин, нервный и вспыльчивый, нетерпеливый и упрямый, раскурился «беломорину», враз бросал, чтобы запалить другую.

На обрывках бумаги, на спичечных коробках, на березовой коре зарисовки обнажений и торопливые эскизы геологической карты, складки, зигзаги разломов. А эти резкие и чересчур категоричные штрихи проводил Лев, перечеркивая уже всем привычные направления пород, разворачивая их веером, как колоду карт.

Гости пили коньяк, курили турецкие табаки, у них кружились головы, и, сплевывая абрикосовые косточки, они показывали Льву свои карты. Точно! Здесь был Шустов, Ивушкин, Белоглазов. Кто-то шестой молчал. Лев сидел под березой — на коре остались зеленые пушинки свитера, здесь он сидел, курил и кивал головой, чутко и внимательно слушал. Он распалял их новой гипотезой, подтверждая ее найденной древней фауной, место находки которой он знал один, но показывать не собирался. Ему верили, что он нашел фауну.

А потом они стреляли по кедру, дырявили его и громко орали, когда пуля сочно срывала розоватую, такую теплую кору.

Потом, уже потом, когда они посмотрели все карты и Лев выслушал всех и многое запомнил, появилась вот эта бутылка спирта, у которой второпях непослушными руками сбито горлышко. Спирт развязал языки. Канин, наверное, захмелел и бубнил о том, что лучше геолога, чем он, еще не бывало. В августе, когда во рту все лето ни капли, хмелеешь быстро. Канин обязательно дарит то, чему радуется сам, раскрывая широкий добрый рот. Наверное, это он протянул Льву ярко-

красный гранат, но тот выпал из рук и затерялся среди мусора. О! Какой кристалл!

Около Оленьего рога он потерял носки, в диковинном карельском рисунке. Здесь же валялись батарейка из транзистора и обрывки бумажонок с едва заметными контурами геологической карты. Но породы, как было видно из значков, не хотели ложиться в складки, а бились друг о друга, рвались и тупо упирались, залезая в чужие непонятные поля. Лев рисовал карту, но та не получалась. Тут было все проще — породы падали по-иному, а он не смог того увидеть. Что он, разучился думать, здесь же все проще?!

На речушке Ялбынья к нему приходила женщина. На золотистом песке печатается след узкой ноги, такой маленькой, что можно прикрыть ладошкой. Она не вошла в палатку, а присела вот здесь, на темный лобастый валун. Она ждала его недолго — две выкуренные сигареты, одна из которых раздавлена до трухи. Она уходила от него гордая, рассерженная — пятка глубоко тонула в песке. То была невысокая золотоголовая женщина — на ветке, что мне по грудь, задержалась тонкая волосинка, легкой паутинкой бабьего лета. Он догонял ее прыжками, через кусты можжевельника, оставляя на них зеленые пушинки свитера. Она пересекла реку и исчезла. В этом месте глубоко в глину втоптан окурок — Лев ждал, когда она обернется. А может, он прятался от нее, в этих малорослых редких кустах, а она увидела?

Затем он пристрелил кедровку, а потом сову. С двух оленей он не стал снимать целиком шкуру — вырезал только языки и тугое вымя молодой важенки. Олененок долго кружил и топтался вокруг матери, ничего не понимая, а потом, испуганный ее неподвижностью и молчанием, умчался в далекий тоскующий горизонт. Здесь у груди костей и мяса я наткнулся на росомаху, она, обернувшись, открыла на меня жаркую пасть, и я

не пожалел патрона. Росомаха харкнула и уже мертвой рухнула в последнем прыжке в десятке метров от меня. Бессмысленно, но у меня сдали нервы.

Третью неделю держу его след и никак не могу понять извилистый, весь в рывках, судорожно ломанный зигзаг его маршрута. Расстояние между его кострищами все больше и больше сокращается, словно у него перехватывает дыхание, словно он грузнеет и ему все тяжелее передвигать ноги. Лев ломился через чащу, не разбирая дороги. И уже тогда, совсем незаметно, во мне стала рождаться и укрепляться уверенность, что Лев торопится от кого-то уйти, чего-то ищет, не находя. Лев ломится через кусты, и его мотает страх.

Перед бродом, под хребтом Маленьких Богов, одна его лошадь потеряла две подковы и обезножела. Она не пускала караван вперед, и он пристрелил ее. У брода под обрывом кричало воронье. У ручья Трех Кедров в узел склубились следы. Они поворачивали сначала на север, вдруг рвались на юг, но потом резко и решительно свернули в долину реки Туманов.

И там я потерял Льва. Дождь... Трехдневный мутный дождь. Ни следа, ни дымка костров, ни сломанной ветки.

Чертовски устал. Почти нечеловеческая усталость, будто искал его всю жизнь, ни разу не остановившись, ни разу не вздохнув. Мне ведь нужно было только поговорить, только поговорить с ним, показать ему первую в своей жизни карту, ту самую, что мы зубами выдирали из хребта Ветров. Показать ему, одному из кураторов, геологическую карту.

С чего все это началось...

Я был тогда в маршруте, когда Лев пришел в лагерь, посмотрел наброски нашей карты и кинул сквозь зубы: «Щенок». Но ведь это были только наброски! А у Льва — имя, имя-броня, имя-пьедестал и имя-храни-тель! Он воздвигал свое Имя годами труда, словно

крепость, и смотрел теперь из него, как из бойницы. Он действительно взаправду «геологический лев», и всегда и везде — на геологических сборищах, в статьях и картах — чувствовалась его львиная поступь, его хватка, его тяжеленная и жесткая львиная лапа. Он не признает компромиссов и давит всех, кто поднимает новую идею. Я слышал, как он называл седых мудрых зубров геологии идиотами.

Откуда у него это беспощадное право бросить — «щенок», кинуть старому геологу — «идиот»? Чем заплатил за него Лев? Наверное, право было? Но чем он его заработал? Что он деспотичен и крут, это я знал давно. «Не стоит баловать людей, они становятся рыхлыми и гниют на корню», — говорил он. Наверное, он был удачлив, ему больше других везло. Бывает так: удача за удачей, и прокладывается дорога. А другой бьет и бьет одну тропу, а с тропинки всегда легче столкнуть человека...

Три недели погони.

Уже многое удалось узнать по следам: я понял, что Лев еще силен, у него крупный шаг, твердая рука, он шел хозяином этого леса, сокрушая все на своей тропе. Но мне казалось, что ему страшно. Только чего? Может, тогда еще, разглядывая наброски нашей карты, он понял, что мы на верном пути и сумеем рано или поздно доказать свою правоту? И ему позарез нужна сейчас новая карта, новая принципиально, переполненная мыслями, идеями, пусть даже парадоксами, но чтобы она была по-юношески дерзкой и в то же время глубокой. Но есть ли у него на это силы?

Я представлял себе, как подойду к его костру и сяду рядом с ним, и буду говорить умно, твердо, решительно. Я не желаю, чтобы меня публично били наотмашь, а кругом все хохотали. Этого больше не будет! Мне хотелось встретиться с ним у камня, у скалы, один на один, с компасом и молотком. Встретиться и обо всем

поговорить попросту, пусть даже грубо, но по-мужски. Ведь я должен узнать, черт возьми, почему в нем столько силы, я должен почувствовать, откуда она и действительно ли то сила.

Все очень просто: наша партия сработала другую, совершенно иную карту, непохожую на ту, что пятнадцать лет назад рисовал Лев. У нас другая карта. И все из-за того, что в этот сезон партия вышла неожиданно, будто врасплох. Меня взяли за шиворот и выбросили в совершенно новый для нас район: «Снимай, дай карту!» Но ведь мы так мало знали о тех, кто был здесь первым, не знали их мыслей, выводов, смутных догадок и прогнозов, не знали ничего о прошедших здесь маршрутах. И мы искрошили район. Вдребезги. В лоскуты...

Мы увидели вещи такими, какие они есть — обнаженными и глыбистыми, до бесконечности сложными и прозрачно простыми, не придуманными и не испорченными человеческим воображением. Мы просто не знали тогда, что над нашим районом давно уже тяготеет догма, приговор «корифея», который не подлежит обжалованию. Перспективы района решались однозначно — там ничего не ожидалось.

«Щенок!» — сказал Лев. А у нас новая, никому еще не известная, никем еще не виданная карта вновь открытой земли, новых древних рек и вулканов. И я обязан был показать ему...

Заросший и усталый, голодный и изодранный, набрел я на избушку манси, маленького лесного человека. Рвал и гудел снежный буран — зима внезапно и вероломно ворвалась в августовскую тишину, и ущелья гремели огромными глотками, и меня так тащило и кидало, что я едва выскочил из этой заварухи.

В избушке кисло пахло шкурами, скреблись мыши,

жарко и красно дышала печка, а буран подвывал за стенкой, гудел звериными голосами, и качался огонь в лампе, ярко-красный огонь с черными хвостами. Мы с хозяином манси набивали патроны, заталкивали пыжи, гильзы и молчали. Курили и рвали какие-то пожелтевшие бумажонки из растрепанной папки, такой нелепой в избушке, будто далекое видение города и какой-то конторы. Одна бумажонка, шурша, распрямилась и вдруг открылась на его имени.

Я увидел его имя здесь, в полусумерках дымной лесной избушки, и почти равнодушно удивился. Вначале даже не понял. На клочке бумаги, среди строчек металось его имя, 1949 год. Фамилия и несколько слов — «докладываю, предупреждаю... неоднократно». И дата. Больше ничего не вмещалось на бумажном обрывке.

И вот я читаю всю ночь, без сна — только мелкая дрожь и муть. Радиограммы... приказы... доклады... списки, акты старой экспедиции, той самой, что проводила работу в нашем районе много лет назад.

И я вижу его путь. Путь Льва к тому имени-бронне, за которым он засел сейчас, как в дзоте. Вначале техник, инженер-прораб, старший геолог... главный. Ни одного срыва, стремительная, как луч, прямая. Его докладные, его доносы, подножки, которые он ставил другим... Он душил медленно, расчетливо, неумолимо. Как только он мог жить после этого, — жить, работать, любить и смотреть людям в глаза, принимать их внимание, почет, уважение? Не могу понять!

— Где взял? — спрашиваю манси, маленького лесного человека. Он улыбается мне дружелюбно и добро и показывает вниз по реке.

— Там база, бросили базу и ушли. Много бумаги. Больше никого давно нет. Трубы, железо, бумаги...

Старая база встретила меня печными трубами, развалившимися срубами домов, битым, обожженным кир-

пичом, горами ржавых банок и битых бутылок. Чернеют кучи угля, грухлявые бревна, рваные сапоги. Почему-то мне поверилось, что Лев придет сюда.

...И я увидел, как осторожно подходил он к покинутой базе, не хрустнул сучок, не шелохнулась трава, только чуть-чуть вздрагивали кусты, когда он притрагивался к ним и раздвигал плечом. Он подбирался, хотя знал, что здесь никого не должно быть. Он был похож на волка — умного, осторожного, постаревшего, в шрамах и царапинах, узнавшего все капканы и хитрости человеческих приманок. Он торопился за бумагами, которые когда-то подписывал, торопился на покинутую базу, где начинался его путь. Оттого я и потерял его, он оторвался от каравана и шел сюда один. Он бы мог прилететь сюда на вертолете, конечно, мог. Но он должен пройти площадь пешком, осмотреть скалы и создать новую карту. И еще он не хотел, чтобы кто-то знал о его появлении здесь.

Он увидел меня и вздрогнул от неожиданности, от моей неуместности: ведь моя стоянка где-то за полторы сотни километров. И Лев узнал меня. Какие у него синие и прозрачные глаза! Он ласково говорит мне «здрасте» и видит, что я держу в руках папку, ту самую, за которой пришел он. Я отвечаю ему «здрасте», тоже кланяюсь и показываю, как он, в улыбке зубы. Мы так тепло улыбались друг другу.

Потом я встал, засунул папку в сумку и, повернувшись, пошел по тропе. Всем телом, всей своей жизнью я чувствую, как он вспоминает сейчас тот день, когда назвал меня «щенком». Шаг... шаг... еще шаг. Сейчас он думает, что я пришел мстить, пришел что-то вырвать у него шантажом. Не торопись, не торопись, говорю я себе, не спеши, волки стали редкими. Я уже точно знаю, что в нем все перепутано, что ему осталось или крикнуть от бессилия, от тоски и выплеснуться в вопле или...

— Погодите! — крикнул Лев хрипло и полузадушенно. — Постой, друг!

Я обернулся. Он стоял на тропе, и по опущенному стволу ружья стекала тяжелая, как картечь, дождина, все лицо его дрожало в испарине, потное лицо с посеревшими губами.

— Погодите!

Он опустил на упавшую стволину, и я увидел, что он стар: бессильные плечи, повисшие руки, выцветшие глаза. Я остановился.

«Я уважаю твою карту», — уверяли его глаза.

«Я презираю тебя, — кричали они. — Ты трус, и ты боишься меня».

— Отдай мне бумаги! — проговорил он. Он сгорал на глазах, обугливался, уменьшался, будто испарялся или усыхал. Я молчал и не знал, что мне делать, потому что не хотел никого унижать. Хотел я только одного — чтобы он оставил всех в покое. Ведь он уже стар, он — то прошлое, к которому мы никогда не вернемся, то прошлое, в котором так много боли. — Ну зачем тебе эти старенькие бумажонки? Выведешь меня на чистую воду? Ну, пусть я мерзавец... А чем ты лучше? Ты выслеживал меня, как зверь, и вот выследил. Но вспомни, разве в свое время ты не научился у меня многому? Разве твоя карта не выросла из моей, пусть отталкиваясь от нее?

Он говорил долго. Доказывал, что нужно забыть старое, что давным-давно пора забыть то, в чем мы путались и ошибались, забыть и жить сегодняшним днем. Нам без того хватает дел и волнений.

Мы там и заночевали, на покинутой базе. А утром он заболел. Метался в жару и бредил и, сбиваясь, торопясь, пересказывал мне свою жизнь, путаную и клочковатую. И я тащил его на себе к избушке маленького лесного человека, и уговаривал его держаться, и знал, что сделаю все, чтобы он выздоровел и выжил.

Но когда он поднимется на ноги, я все равно скажу о нем все. Я должен это сделать. Хотя бы ради него самого.

БЕЛАЯ КОРОВА

В вершине кедра тоненько посвистывают бурундуки, на них сердито прицокивает белка, еще не созревшая, красновато-рыжая; заполошно, пугая самих себя, орут кедровки, и крики их отвлекают Леонова, не давая сосредоточиться, задуматься над картой, а кедровки-ронжи и кукши, то грудясь в стаю, то рассыпаясь, надрываются на всякие голоса: и стонут, и ржут, скрежещут и будто лают. За гривой сосняка, что тягуче и тревожно погудывал под ветром, на зарастающем озере прокликали гуси; со свистом над стоянкой пронеслась чернядь, и к костру донеслось, как утки заплоскались, прилепывая крыльями по воде. В темнеющем ельнике одноглазая собачонка Сяль засунула морду в нору, час уже лает остервенело и злобно, голос ее, стекая по лабиринту мышиноного хода, отдается подземельно и утробно. Юркнула под корень полевка, плесканул по камням ручей, и высоко над хребтом, словно в железо, звонко ударил ворон. Фыркнула и всхрапнула кобыла, подойдя к костру, скребанула подковой о камень и захрумкала, обкусывая тальниковую ветку. Звук оставались настолько привычными, что улавливались враз десятками, но не смешивались, а расщеплялись по отдельности: хруст сучков и фырканье, плеск, пыхтение, цоканье, посвисты, лай, хрипы, вздохи — все это тайга, лесная чаща, захватившая в себя горы. Оголенная и отсвечивающая, будто кость, верхушка елки прислонилась к листовке и поскрипывала на ветру однотонно и нудно — скри-и-ип-пи, скри-и-пи-ипи. Скрип длинный со вздохом, в равные промежутки — сухостой-

ный скрипучий поскрип, но чуть-чуть надавит ветром, как тон его меняется. В елке оказалось расщепленное дупло, и оно удваивало, ширило звук, и возникший как тонюсенький, скрипичный, он опускался в дупло, там креп и отдавался уже контрабасом — скрип-скры-ып, скры-ы-ыпы! Ночью над затухающим костром, пергаментно шурша, косо и причудливо носились летучие мыши, плашмя опадали на крышу палатки и, пискнув чуть слышно, поднимались; билась шишка в землю и неумоляно плескал ручей, все, словно цепenea, погружалось в сон, отяжелев за день от беготни и пищи, и раздавался лишь заполошный вскрик куропатки — тормошилась та сонно в кустах. А теплое пофыркивание коней, их глубокие вздохи и горячее ржание, тонюсенький визг жеребенка еще больше сгущают тишину, углубляют ночь и покой. За четыре месяца полевого геологического сезона утончился, обострился слух, улавливая даже сухое потрескивание жуков-дровосеков под корою сосны или кедра.

Перед самым рассветом что-то встревожило коней, пугливо заметалось, забилося ботало, и гулко, тупостреноженно ударили в землю десятка два копыта, приглушенно и злобно заржал жеребец, и лошади двинулись к лагерю, к дымящему костру, к человеческому дыханию, таща за собой, словно бредень, треск и хруст веток. Но в этом треске, тихом пофыркивании и коротком ржании возник посторонний и необычный звук, уловился и отделился ото всех, и Леонов долго-долго прислушивался, но не мог вспомнить его. Из чащобы тайги донесся к нему полустон-полувздых, то ли короткий рык, то ли оборвавшееся мычание, и проник в сознание, отодвинув другие звуки, как привычно-обыденные. Слово позабытый далекий зов, он раздался в его глубинах, вселив неизъяснимую тревогу, чуть-чуть грустную и печальную. Вновь полувздых, протяжный мык, и это не принадлежало коням, не рождалось тайгой

и скалами, а дохнуло родным, родимым. Громче звякнуло ботало, ударило гайкой в жестянку, и тут к нему, к боталу, будто приблизился и привязался рассыпчато звонкий голосок колокольчика.

— Дили-диль-динь! Дзинь-линь-линь! — серебристо, тоненько и хрупко, по-птичьи залиvisto закатился бубенец.

Леонов выдернул себя из спальника, захватил в охапку одежду и, перешагивая через спящих, выбрался из палатки в августовский рассвет. Из другой, соседней, тоже поспешно, спиной вперед, вывалился Петька-конеvod.

— Бегем?! — крикнул Петька и рванулся на суставчатых, ходульных ногах навстречу треску, чужому голоску колокольчика. А тот звенел-вызыванивал, приближая к Леонову то, что он старался вспомнить, но не мог, никак не мог. А через полсотню метров, пройдя сквозь табунившихся настороже коней, он двинулся к охрипшему от лая Сялю и наткнулся грудь в грудь на Петьку. Петька ярко рыжел в поднимающемся солнце, губастый и зубастый, весь расхлестнутый и распахнутый, тяжело и порывисто дышал. Волосы его перепутаны сном, влажные от росы, падали на лоб, закрывали мальчишечьи зеленоватые глаза.

— Корова! — ликующе выпалил Петька.

— Как? — не понял Леонов, вглядываясь в затененные кусты, где тихо приседал туман. — Корова?! Какая такая корова?

— Да белая! — заорал Петька и, оглядываясь, захотал, хлопая себя по бедрам. — Белая, понимаешь, корова, как будто седая. Умора, а? В такую глушь заползла, от глупая! Ну и дура же, даром, что с рогами!

И тогда заторопился Леонов. Так вот отчего он не угадал тот издали донесшийся звук, полувздых, полустон!.. Он разрывал кусты, откидывал потяжелевшие от утренней сырости еловые лапы, цепляясь за пни.

И точно, неподалеку от сонного мерина спокойно переступает ногами белая корова, и с мягких губ ее почти до земли протянулась клейкая слюна. Увидев Леонова, она медленно повела головой, пригнулась, шевельнула ушами и переступила, хлестанула длинным хвостом по влажной спине, сочно так, звучно, как плещется рыба. Он подошел ближе, совсем близко, протянул к ее морде руку, и корова ткнулась в его ладонь влажными ноздрями, теплодохнула и шершаво лизнула языком. Леонов погладил по морде, по голове, где меж рогов курчавилась шерсть, утыканная хвоинками и сухими сучочками в свалывшейся паутине.

— Милка! — позвал он. — Милка... — Она вздохнула шумно и покорно, а в Леонова вошло тревожно-радостное ощущение рассвета, тишины осени и покоя созревания.

Собаки, разбуженные Сялем, лениво взбрехнули разок-другой для порядка и, втянув запахи, успокоились, разлеглись под кедрами, а Сяль все метался, кружил, дрожал всем телом и скалил зубы: ему всего второй год, и за короткую жизнь он никогда не пробирался в людские поселки и впервые, конечно, только сейчас видит такого зверя с невиданными рогами, — не лосиными, нет-нет, не оленьими, просто невообразимыми рогами, острыми, гладкими и, наверное, опасными, да и хвост, хвост-то, посмотрите, как кнут с кисточкой. Никто в тайге не носит такого хвоста. И Сяль, возбужденный, просто умирает от страха, от диковинной необычности зверя, от его запахов и не понимает, почему люди, да и старые собаки, мерин тот же, так спокойны, хотя и в них появилось уже новое, просто им не замеченное раньше: стоит вот начальник и потаенно улыбается, почему-то ослабев. Собака всегда чует, когда человек слабеет от доброты, да и от злобы тоже. Но такого Леонова одноглазый Сяль почуял впервые, однако уже не мог остановиться

и хрипел, как и вечером, когда лаял в глухую мышиную нору.

— Милка! — позвал Леонов и тихо спросил: — Откуда же ты?

До поселка, что поднимался над Сосьвой, больше сотни километров, и туда не вела ни одна дорога, и не пробита туда тропа, да и поселок тот крохотный, из десяти изб да рыбацкого стана с ледником. А за полсотни таких же таежных немеренных километров, через горельники и каменистые распадки, стоят избы Курикова, да там четыре избы, но манси, кроме собак, ничего не держат. Дед Куриков да три сына — охотники-медвежатники, тайга — их дом, их дело, жизнь, зачем им корова? Лосенок у них живет, это верно, лебедь с подрезанным крылом на забаву ребятишкам да еще два песца, самки оценились в клетках, но щенки остались дикими и злобными.

— Да, так откуда же ты, Милка?

А Милка, Белая Корова, с голосистым бубенцом парно и шумно дышала, как и та, леоновская, послевоенная, комолая Милка, белая в черных ночных пятнах, будто в сорочьей окраске, такая же домашняя и доверчивая. Ругался, ворчал, плакал Алешка Леонов, когда мать чуть свет расталкивала его, тормозила и сонного, ломающегося в поясе и коленях, подводила к рукомойнику, ополаскивала мордашку, подносила кружку молока, совала хлеб и тихо-тихо упрашивала: «Ничего, Алешенька, ничего, сынок мой, попаси недельку-другую, а там в стадо, и вздохнешь ты, соколенок мой, помощник мой... попаси...» И Алешка, утопая по щиколотку в пыли, сонно передвигал ноги в цыпках, иссеченные осокой и стерней, бродил с Милкой по закрайке леса, по оврагам, по мелким лужицам, а в обед и к вечеру Милка приносила в дом полнехонькое ведерко молока, и пахло оно клевером, росой, а в жару — полынью. Сестренки криком и виз-

гом встречали Милку, повисали на ее шее, Алешка, пыльный, с облупившимся носом, обгорелый на солнце и ветре, вытряхивал из-за пазухи стручки гороха, кислющие лесные яблоки — «вырви глаз». А из шапки высыпал горстку земляники или красной смородины.

Давно он уже живет по городам, и много было тех городов, геологических баз, экспедиций, и в городской квартире живут его дети и мать, но она никак не может привыкнуть, не может отнять у себя деревню; все осталось при ней, и раным-рано, как только затлеет рассвет, она поднимается от живущего в ней петушиного крика и целый день тормозится на ногах, все находит какое-то дело, а по вечерам, укладывая внуков, она тихо и таинственно поведает вдруг забытую, совсем забытую сказку о птице Сирин, о Гамауне, и внукам ее так же жутковато, как и ему самому когда-то.

«Как же далеко от нас люди, — подумалось Леонову. — Даже не верится, насколько далеко... будто в прошлом — мелькнули и ушли».

Корова потянулась и жестковато тронула языком его руку. Сяль уже охрип, у палаток раздались голоса: поднял всех из сна Петька-коневод. Корова вся белая, даже не белая, а словно из потускневшего серебра с черными до колен чулками, запавшие бока вымазаны тиной — крест-накрест охлестала себя, сгоняя оводов. Шаль складчатая, волнистая, что от горла спускалась почти до травы, в нескольких местах исцарапана, порвана, в загустевшей, запекшейся крови, и, притрагиваясь к ранам, Леонов заметил только сейчас, почему Белая не выходит из кустов, а стоит как-то странно, раскорячив ноги, будто там что-то прячет. И точно...

— Привесок, а? — заорал Петька, нырнув под брюхо коровы. — Глянь-ка, телок! — И Петька принялся

тащить-вытаскивать из-под нее телка, крошечного, буроватого и дрожащего.

— Оставь! — Леонов похлопал легонько по спине Белую, и та шагнула вперед, выйдя из кустов.

Видать, она ушла перед отелом из дому, схоронилась где-то в ельниках и принесла плод. Молодая совсем корова, наверное, второй теленок, притаилась, укрылась, будто совершала таинство, прячась от всего на свете. Совсем недавно — теленку не больше недели, — кружа по тайге, она наткнулась или на нее нарвались волки; волчата совсем молоденькие, глупые, сытые и оттого ленивые, неуклюжие от разбухшего брюха приняли Белую Корову в свою игру, но не доиграли: теленок скрылся под мать, а та билась насмерть, кидалась яростно и свирепо. Может, и не так все было, но раны, это уж точно, оставлены зубами. И с тех пор телок поселился под брюхом, самой надежной защитой, и таскался под матерью, ничего не ведая. Сейчас он сосал, дрожал, перебирая ножками, вздрагивал бурым, ладным тельцем, сосал с пристомом и сладострастием, закрыв глаза и складывая губы в трубочку, торопился, и сосок вырывался упруго, и тогда струя молока била ему в глаза, в короткую мордашку с раскидистыми ушами.

— Вот дает! — в восторге кричит Петька, приседает и подпрыгивает, и валится вдруг на землю, заглядывая туда, под брюхо, и так же приседает, припадает к земле, подпрыгивает Сяль, только он хрипит на Петькины крики, не может уже лаять.

— У мамани моей тоже корова, — объявил Петька. — Отец-то — лошадиник, а мать все с коровой возится. Масла в магазине навалом, стущенка. «Нет, — говорит, — ничего сильнее, как парное молоко».

— У коровы молоко на языке, — хохотнул старший геолог Сенькин, большеносый и тонкогубый. — Но никто не поверит, что в кондовой тайге можно выпить

кофейку с молоком. У-ум! Пардон, кофе со сливками! Или язык в молоке, это же миль пардон!

Белая звякнула бубенцом.

— Не даст! — отрезал Петька. — Телок ее сосет все! Не даст! Да она не впервой из дому бегаёт: порченная корова, хозяин — лопух, не углядел. А хороша коровенка! Но откуда приволоклась она, а? Здесь же безлюдье голимое, безнаселенность мест. И оттого она — чудо-чудное! А молока не даст! — уверенно заявил Петька. — Поколение отведало титьку, теперь не выпустит.

— Как это не даст? — удивился Сенькин, узаконенный отрядный остряк. — У скотины берут, причем без спроса. Хлопнем телка, и бзик-тим-ля-ля! — И вынул нож. Он всегда так шутит. Рука у него тонкая, как куриная косточка, а нож тяжел, и кажется, что переломит руку. — Телятина... сочная, нежная, полон рот слюны. А если отварить филе и холодную, улавливаете, порезать тоненькими, прямо тонюсенькими ломтиками, плотненько, а сверху брусничкой... брусничкой... ой-ей-ей — это же черт возьми! Начнем? — обратился он ко всем и ни к кому. Сенькин потянулся и, ухватив теленка за уши, поволок из-под брюха. Белая мыкнула, недовольно хлестанула хвостом по спине — «что, мол, за шутки, когда детеныш еще не насытился?»

— Оставь телка, — попросил Леонов, именно попросил, задумавшись о своем. — Петька, давай сюда аптечку.

— Да вы что?! Лечить ее собрались? — хрустнул сухарем Сенькин и оглядел парней, что сгрудились вокруг коровы, дотрагиваясь до ее рогов, до холки. — Да это черт те что, это же премия, приз, бифштекс! А? Это же будто кошелек нашел с червонцами или клад. Сама ведь пришла — нате!

— Пошел трепать! — пробасил горняк, квадратный дядя с темным взглядом. — Мясцом побаловаться ему,

а она, вишь ты, мать кормящая. Думать надо, понял?

— Алексей Иванович, — крутанувшись на пятке, сладеньким голоском протянул Сенькин. — Как предполагаете распорядиться призом? Вначале телка или враз, вместе?

— Хозяйская она! — зашумел Петька и забегал вокруг коровы. — Принадлежит! А у того владельца, кому принадлежит, могут оказаться дети. Телка убить — тогда мать сгинет, а ее?.. ее?.. Как же бить, коль с телком она. Сколь носила, пока выродила. У моей мамани...

А потом зашумели все в десять голосов, но Леонов и не вслушивался, словно покой, та уверенность, что принесла с собою Белая в их лагерь, были чем-то большим, гораздо большим, нежели она сама и ее теленок. Его партия пять дней назад спустилась с оголенных нежилых вершин в горную тайгу, обильную дичью, ягодой, рыбой. Два месяца они не ели свежего мяса, хотя в общем-то были сыты, — а тут корова...

— Ни к чему все это, — тихо улыбаясь, отвечает Леонов. — Тут, парни, глубоко потаенное дело. Белая шла к нам, от зверя шла к людскому. Неразумно, значит, она доверяла, шла на голос, на костер, а куда вышла? К человеческому шла в этих буреломках...

— Да приз же! — не унимался Сенькин. Завел себя, может быть, уже и крови не хочет, а завелся. — И почему молоко нельзя организовать, доение ее? О людях ведь надо думать, о людях!

— Да ведь она к нам шла, пойми. Зверь ранил, убить хотел, а она вырвалась.

— А вы не боитесь показаться сентиментальным? — Сенькин смотрит исподлобья, неприязненно, и будто чужой он, незнакомый, в запущенной, грязной бороде, в которую он спрятался и лишь юрко выглядывает. — Сентиментальным... и более того...

— Глуповатым? — подсказал Леонов и усмехнулся. — Нет, не боюсь.

Просто, все просто. Она — Белая Корова. И она пришла к людям в диком лесу, как тысячи лет ее племя подходило к человеку. Корова приносит не молоко, она приносит жизнь и еще детство, далекое-далекое детство, доверчивость и бескорыстие. Вот чему он улыбается про себя, почувствовав, что ноги вдруг загудели, зашипали от цыпок, и засадила распоротая о камень пятка, и загорелась ободранная спина, когда он кувырком летел тогда вниз с обрыва к комолой Милке, потерявшейся на целые сутки.

— Милка, откуда ж ты?

А от палаток доносился бубнящий голос: «Сентименты, мокрогубость, да что там, если бы он о людях думал... как сытнее их накормить, да подешевле. И думать не хочет... Ну и жрите все тушенку, за рупь пять — банка».

— Откуда ты, Милка? — нараспев повторяет Леонов, но уже точно знает, зачем и откуда приходят в чащобы Белые Коровы.

УГОВОРИЛИ...

До недавнего времени он разглядывал себя в зеркало по три раза в неделю, когда выскабливал рыжеватую щетинку и прижигал ранки «шипром». Он всматривался в свое лицо, раздувал щеки, прикусывал губы и приподнимал пальцами левой руки кончик носа, а правой водил бритву. Занятый верхней губой, он натягивал ее, будто резиновую, и не успевал даже рассмотреть, как у него расширяются голубовато-серые глаза с крошечными зрачками, да, признаться, они и не особенно его интересовали: глаза как глаза. Изредка на лице реденько рассыпались красные прыщики, чуть

побольше веснушек, и после них оставался то бугорочек, то коросточки, или на глаз усаживался ячмень, щека вздувалась от флюса, но все проходило, и в общем-то лицо почти не менялось, оставаясь по-прежнему лицом Ивана Андреевича Рунова, вначале младшего геолога участка, затем старшего геолога партии. И безликость этого лица никогда его не удручала.

Но однажды его вызвали в управление и до самого обеда таскали из кабинета в кабинет, и он уже не помнил, что ему там говорили и что он отвечал сам. В него вселилась неловкость, неуютность, и он улыбался растерянно и не к месту, но его подбадривали, хлопали по спине, заверяли, что он, Иван Андреевич Рунов, может, ну, конечно, может возглавить геологическую службу экспедиции, сумеет, конечно, сумеет, если хорошенько постарается. Иван Андреевич мучался, потел и никак не мог набраться решимости и ответить твердо: «Нет же, не смогу я!»

В кабинетах, отличающихся друг от друга лишь размерами, количеством стульев и телефонов, Рунову объясняли, что экспедиция, в которой он работает, уже давно переживает кризис, что там крайне редко рождаются открытия, а они крайне необходимы: нужны медь, бокситы, свинец, золото. «Соглашайся, бери в свои руки и разворачивай геологию». В кабинетах его хлопали по плечам, по огрузневшей, ослабевшей спине, и впервые Рунов услышал о себе столько хорошего.

Вечером он оказался на совещании, и здесь кто-то хвалил его, хвалил бесстыдно и грубо, но он не знал того человека даже по фамилии, совсем не знал, лишь мельком видел года три назад, а кто-то выражал сомнение и был тоже мало знаком. Зато уж свои знакомые геологи — крупные и крутые парни — заявили прямо: «Не годен, не поведет и не потянет...»

Спокойно, не горячась, они аргументировали:

«Рунов имеет опыт, да, имеет. Но опыт исполнителя, прорабский опыт; у него отсутствуют инициатива, размах и воображение. Отсутствие собственного взгляда на перспективы района ни к чему доброму не приводят. Когда нет собственной платформы, специалист превращается в мальчика на побегушках». Так заявили свои, те, кого он хорошо знал, у кого учился и с кем хлебал из одной миски. «Рунов эффективно раскрывается в своем исполнительском ранге, но в руководители не годится». Но экспедиционных — хоть они и пустили ложку дегтя, и обнажили Рунова до корней — игнорировали и принялись вновь смотреть и пересматривать биографию Ивана Андреевича, останавливаясь на вехах и вешках. Обнаружили несколько сучков, но они уже ни на что не влияли.

— Самое ценное, — заявил начальник геологического отдела, — что Рунов из гущи, из рядовой геологии, с производства, и нам незачем приглашать на вакансию еще одного варяга со степенью. Размаха, говорите, нет? Инициативы? Масштабности? Все это придет. У нас тоже не было, но нам доверили, и мы пытаемся оправдать доверие.

И тут Рунов неожиданно для себя заобещался взволнованно и косноязычно, заобещался оправдать доверие, найти в себе силы для масштаба и заявил, что если ему помогут, то постарается стать личностью.

Иван Андреевич шел домой пешком, сдвинув на затылок шляпу, и вспоминал свои вехи и пути, но не находил в них ни крутых поворотов, ни опасных зигзагов. Отец говорил ему не однажды: «Квелый ты, Ваня, одно в тебе тесто. Да и то без соли». И он уже давно определил сам, да и жизнь в общем-то обозначила его место — всегда и везде оставаться исполнителем. Другого Иван Андреевич не мыслил. И вот сейчас он старался представить себе завтра, то завтра, когда он должен стать иным, — каким, он еще не знал. Но то,

что ему доверили, обласкали и одобрили, это плескалось и звучало в нем, гудело, как на хоккейных трибунах.

И вот, придя домой, сбросив шляпу, стащив ботинки, в носках и полурастегнутом пальто Иван Андреевич поспешил к зеркалу. «Ваня, ты?!» — «Да, да!»

И принялся вглядываться в зеркало, торопясь угадать в лице то значительное, что уже вошло в его жизнь и работу.

Но лицо оставалось прежним, небольшим таким лицом, забрызганным веснушками. Оно открывалось невысоким выпуклым лбом, слегка расширялось на скулах и грубовато, скошенно уходило к подбородку, но тот не выделялся, не огрублял и не отяжелял лицо. Реденькие волосы просвечивали у макушки, серенькие, словно пепельные, они легко, как воробьиное крылышко, покрывали голову и росли прямо. Нет, лицо совершенно не мешало Ивану Андреевичу — пусть простоватое, но не ущербное и не корявое, обыкновенное лицо некурящего, непьющего, не успевшего ничем заболеть человека тридцати пяти лет. Оно приветливо улыбалось, и улыбка красила его. И тепло, смягчалось лаской, всегда оставалось дружелюбным, и никогда не ломалось, не корежилось от ярости и боли, не мельчилось и не терялось в гневе, не стиралось в дрожащее бледное пятно от внезапного, неожиданного страха.

Но сейчас Иван Андреевич остался недовольным, не разглядев в лице ничего примечательного: ни здорового носа, который бы можно ухватить в кулак, ни чернущих кустистых бровей — прямо сапожная щетка, а не бровь, — которыми, как на подбор, обзавелось все его руководство, ни громадного зубастого рта, как у К. — главного инженера. У зама начальника управления на диво голова — шар, и он носил ее, сверкающую и гладкую, как плафон, зато у Л. голова квадратная,

будто выпиленная из гранита. Все руководство его высокого гвардейского роста, напористые, голосистые, крутогрудые, и смех у них — хохот, голос — трубы.

А Иван-то и роста мелкого, обычного.

«Что же тогда? — жгло и раскалялось в нем. — Ни кожи, ни рожи... Ума среднего, масштаба нет, и личность не сложилась. Почему они меня?»

— Ванюша, кушать, — домашним теплым голосом позвала из кухни жена. — Мужички, за стол!

Мужички — Мишка и Митька — кубарем вывалились из спальни, налетели на отца, уцепились за руки, полезли на спину, на грудь, тащили в разные стороны, похожие друг на друга, на отца и мать.

— Стынет же! — позвала Любаша и, как всегда, как сотни, как тысячи раз, собрала на стол, застеленный клеенкой с цветочками: в простой хлебнице черный хлеб и батоны, и разномастные тарелки, вилки, ложки. Она гремела сковородкой, выключила плиту, мешала в кастрюле, переливала, стряхивала со стола, походя шлепнула Митьку, порезала луковицу и тут же на иссеченной дощечке разделала селедку, а Иван все не мог прийти в себя. «Почему же меня? За что же?»

От борща поднимается крутой запах мяса, укропа, перца. Иван машинально черпает ложкой и не ощущает вкуса. А в ушах звучит: «Тебе, Иван, придется кончать с прежними своими замашками: трепотней в коридоре, перекурчиками, с «тыканьем». Если резко не определишь дистанцию — пиши пропало! Ну и быт чтоб у тебя — на высоте. Чтоб не стыдиться, понял?!»

— У нас нет салфеток? — вдруг спросил он.

— Возьми, — жена протянула чистую тряпицу, — Мишка, не вертись! Митя, не разливай молоко. Ребята! — устало повысила голос Любаша и тряпицей собрала лужицу. — Кончайте! Сейчас же спать, и завтра — никакого кино! Отец устал. Захворал ты, Ванюша? Что с тобой, на тебе лица нет.

— Лица нет! — вздрогнул Иван Андреевич. — Почему нет лица? — Но вовремя спохватился и ровным голосом ответил: — Здоров я, Любаша, просто у меня сегодня событие, — объявил и замолк.

Но это не затронуло Любашу, занятую детьми и подгоревшим вторым.

— Если по лотерее выиграл, то это хорошо! — ответила она так, как обычно отвечают на паузу.

— Мотоцикл! — заорал Митька.

— Катер! — завопил Мишка. — Катер, папа?

— Главным меня назначили! — бесцветно, без интонации сообщил Иван Андреевич. — Завтра стану принимать дела.

Но Любаша не поверила. Она не удивилась, как бывает от неожиданности, а чуть было не обиделась, как от глупой шутки, потому что вообще никогда не видела Ивана большим. Он ей полюбился парнем, еще студентом, и они поженились и жили врозь, каждый в своем общежитии, и каким бы он ни был, в ней тихо теплились дружелюбие к нему, чисто женская заботливость и доверие, как к давнему другу. Но такого она не ожидала. Нет, такого не могло быть.

— Сходил бы ты куда-нибудь, Ваня! — советовала она ему раньше, когда он безвылазно сидел дома, в четырех стенах, а она устраивала уборку, выгребая пыль и сломанные игрушки. — Посиди с друзьями, поболтай, выпей.

— Некогда! — отмахивался Ваня. — Да и пить, как они пьют, не могу, не научился. Почитаю, посмотрю еще раз карту.

— Все работа и работа... И дома карты, и на работе карты. Ведь тебе, наверное, скучно с самим собой, Ваня. Выйди, потолкайся хоть на улицах, а то ведь — серый.

Она не могла похвалиться перед соседями, подругами, коллегами своим мужем, не могла ни похвастать,

ни пожаловаться на него. Подруги ее придя в лабораторию, не успев раздеться и поправить прически, перепутанные непогодой, сразу же начинали: «Мой-то, мой-то, ух, никчемник! Шатун-гулеван, опять с рыбалки, с охоты своей припелся мокрый-то весь да грязнуший, будто его по тротуару волоком тащили, возвратился и пал, еле добудилась на работу, а он сонный-то, сонный, просто муха, а принес... вы слышите! Принесло трех пескарей да ершишку. Ну, ладно — себя мает... знает, что не сплю... и ершишку? — «На, мать, на уху!» — Не пушу, пусть удавится, не пушу. Последнее мое распоследнее железное слово!»

А у второй муж целыми днями под машиной пластается, под «Москвичом». «Ну приварился к ней, и все! Ни он, ни машина, ни я — ни с места!» У третьей тоже ненормальным стал, и сына ненормальным делает. «Телевизор на транзисторах собирают, зарплату и стипендию на проводочки тратят. Скатерть от матери еще досталась да шторы — все сожгли! В доме дым, копоть, проволока и всяческое железо».

Даже леди Макбет — высокомерная старушонка-машинистка, с каким-то сладострастием обвиняет своего мужа: «Я своему говорю: «Пей, но оставайся джентльменом, черт побери!»

Нет, Любаша ни в чем не могла упрекнуть своего мужа. А подруги, сотрудницы хоть и ругали в пылких разговорах мужей, но никогда не могли одобрить позицию жизни Ивана Андреевича и в правильности его усматривали бесцветность и пресность. «Ну и скучный же он у тебя, молчит, улыбается, а все кажется, что зануда». Она тихо отвечала женщинам, что Ваня — негромкий мужчина. Он от рождения застенчив и скромен, и застенчивость его так глубока, что он не умеет до конца себя выразить, но муж он хороший, добрый, непьющий, и отец любящий, и на работе у него все гладко, без срывов, и оттого дома — мир.

Но женщины хором поднимали гвалт: «Хоть наши мужики не гладкоствольные, чокнутые маленько да всякие они разные, но какие ни на есть, они — с порохом, с зазубриной, с огнем и шпорой, с кулаком и храпом, — спелые они, и все с характером, пусть с дрянным, но с характером!»

Любаша вызнала Ивана до последней молекулы, до каждого нервика и волосинки, будто сама родила его, приняла целиком и угадывала заранее всякое движение его душевной конструкции, развитие его модели и как бы ходила внутри Ивана, будто по знакомой деревне, где все просто, бесхитростно, понимаемо и где ее не ожидали лабиринты, тупики и глубокие ямы. И она сейчас испугалась, что где-то, когда-то она что-то просмотрела, не открыла, упустила и не разобралась. Значит, она упустила его суть, и где-то за этим понятным и понимаемым скелетом характера таился в глубине другой, более значительный, а она не углядела, не угадала — и, возможно, там, внутри Ивана, скрывается и многое другое, к чему она никогда не будет допущена?

— Не может быть! — выдохнула она, отвечая своим мыслям.

Но Иван подтвердил:

— Правда, Любаша, сегодня и назначили, а завтра уже, — он протяжно вздохнул, — главный.

И он принялся было подробно, останавливаясь на мелочах, рассказывать, но она прервала его: «Погоди, уложу детей!» Ей хотелось остаться одной, все обдумать, понять происходящее: она оставалась женой, женщиной. А Иван, дрожа от нетерпения, идя за ней, путаясь и сбиваясь, пытался объяснить, как все было, кто где сидел, кто что говорил и как говорил. Он отмечал интонации и жесты. Он пытался изобразить выражение лиц, и Любаша уже не узнавала своего Ивана: возбужденным таким и откровенно торжествующим

она видела его впервые. «А что? — заявил он. — Мне тридцать пять, давно пора за дело!»

— Ой, страшно мне, — тихо, по-бабьи простонала она и сжала виски руками. — Думала, ты шутишь со мной, разыгрываешь, а тут правда. Страшно мне, Ваня, слабый ведь ты, а они что задумали...

— Для тебя слабый, — отрезал Иван Андреевич. — Да, для тебя слабый, потому что сама себе придумала, будто семьей руководишь. Для них не слабый, нет! Как раз такой, какой нужен! Они, — он так выделил «они», как нечто разумнейшее на земле, — они вот считают, что только я могу возглавить. Следили, значит, за мной внимательно. Много лет вглядывались, взвесили, и когда срок настал — утвердить! Ты что же думаешь, они-то дураки...

— Они-то не дураки, а вот... — она отодвинулась и как-то отчужденно всмотрелась в мужа, в далекого и незнакомого ей, — они-то явно не дураки, но как ты согласился? Может, тебя заставили? — с надеждой спросила Любаша и подняла к нему лицо. — Скажи, принудили тебя? Приказали? У тебя выхода не было, Ваня?

— Кто мне может приказать? — не понял ее Иван. — Как могут приказать, когда главным назначают?! Перед тем как назначить, выбирают из многих.

— Но главному нужно многое иметь! — почти закричала она. — Иметь! Каждому человеку надлежит свое место, Ваня! Каждому! А твое ли это? Там, где нужно ломать, ты примешься строить, а где все готовое и законченное, ты начнешь рушить. Нужно идти с поиском на запад, а ты полезешь на север. У тебя позиция-то есть?

— Вот-вот, — отмахнулся Иван, — те, что в меня не поверили, точно так же говорили. Точь-в-точь...

— Поняла бы тебя, — тихо, будто размышляя вслух, продолжала Любаша, — поняла бы тебя, когда бы ты

за это бился, рвался, добивался, притязал бы. А тебе ни с того ни с сего дали! Бывает разве так — дать ни за что? У меня в лаборатории двадцать женщин и девчонок, и то едва справляюсь, с трудом нахожу общий язык. А у тебя, Ваня, ты только представь, трое защищают диссертации да пятеро в аспирантуре...

Уже два месяца он вглядывается в зеркало, и все что-то не нравится ему в своем лице. Он стискивает челюсть так крепко, что перекатываются желваки, твердо сжимает рот, он пытается смотреть собеседникам прямо в глаза, но коллеги отвечают более твердым взглядом, и Ивану Андреевичу становится не по себе. Стричься он стал под бобрик, говорить отрывисто — сквозь зубы, почти не разжимая губ, — так что хриплый голос ему самому незнаком и дик. У него появилось много слов и словечек, подобранных в тех, более просторных кабинетах. Манера садиться, стоять, подходить тоже менялась, — он потихоньку «вползал в масштаб», но все было боязно: а сумеет ли вползти до конца?..

— Мы тут обсудили, взвесили — что ж? — говорил он вызванному в кабинет геологу. — Денег на партию твою достали. Достали — да погоди ты благодарить, это наше святое дело. Но... снимаем их с меди. И хотя отдаем тебе на поиски, титул медных сохраняется в банке, и там ничего не знают, ясно?.. И поскольку ты медными деньгами будешь искать золото, — пошутил он, — не забывай, что несколько проявлений меди ты должен выдать.

— Да ведь там нет меди, она на другом планшете.

— Правильно! Прирезаем тебе и тот планшет.

— На эти-то денежки?

— На эти денежки, — откидывается Иван Андреевич на стуле и перекатывает желваки.

— Плевал я на эту мелочь! Это же палки в колеса! Только силы распылять...

— Тогда ничего нет и не будет!

И соглашается вконец измотанный начальник партии, мысленно чертыхаясь, взваливает на себя неожиданный и никчемный груз.

А Иван Андреевич уже «снимает стружку» со следующего подопечного:

— Надо! Что это, понимаешь, за разговорчики — «объемы велики»? У всех велики — тужатся, а тянут. Помощь? Нет, помочь ничем не могу. И отговорки твои больше слышать не желаю! Тебя выдвинули на это место, я горло за тебя драл, а ты? Хочешь показать всем, что никуда не годен?

Он очень устает на новой работе. Устает от пустопорожности своей кабинетной суетни, от банальностей, которые с важным видом изрекает, а больше всего от сознания, что все идет, движется как бы само собой, помимо него, — просто каждый геолог экспедиции прекрасно знает свое дело, и люди работают так слаженно, что его, Рунова, некомпетентность и растерянность, его суматошные, противоречивые распоряжения пока что не приносят большого вреда... Но тут Ивану Андреевичу приходит спасительная, успокаивающая мысль: ведь те, кто уговорил его занять эту должность, пока не проявляют неудовольствия. Возможно даже, они им вполне довольны, да и в экспедиции в конце концов смирятся, привыкнут — наберется же он со временем какого-то опыта, — и нечего себе надумывать, трепать нервы...

А в эти самые минуты человек, который больше всех его уговаривал, думает невеселую думу: «Снять прямо сейчас? Но это значит расписаться перед всеми, что мы опростоволосились с этой кандидатурой... Может, дать ему поработать еще какое-то время, авось втянется и потянет...»

И проходит еще месяц. Лицо Ивана Андреевича, по-прежнему маленькое, тонкогубое, затвердело, на нем застыла, будто выплавилась изнутри, некая решительность и убежденность. Утром за завтраком Любаша долго смотрела на мужа. Желваки выделялись на скулах, подбородочек вперед, губы сжаты — получужое какое-то лицо...

— Не нервничай, не кипятись, — тихо улыбается Любаша. — У нас дети растут, Ванюша.

— Ну, я пошел! — Иван Андреевич надвинул на глаза шляпу и зашагал, далеко выдвигая острые коленки.

Он еще не знал, что с сегодняшнего дня лицо начальственного типа ему уже больше не понадобится.

ОЗЕРА У ПОДНОЖИЯ ГОР

Тихо в волнах своих покачивается Тур-Ват, а гора Ялпинг-Нер, что отражается в нем, кажется зыбкой.

— Как человек он, да? — кивает на озеро старый манси. — Когда светлый — добрый, то совсем темный — сердитый. Стареть он стал — трава его душит. Слабо совсем дышит, слышишь?

— Да, — отвечаю старому манси. — Слышу.

И я вслушиваюсь, как засыпает Тур-Ват: сложив крылья чаек, спрятав под берегом утиные стаи. Волна его ленива, покойно-медленно наплывает снами на берег, на осоку и купавки и белыми лилиями касается камней — убаюкивает себя Тур-Ват шорохом трав. В озеро опадает цвет черемух, золотисто пылит верба — у заснувшего Тур-Вата на берегах остается мягкая пена, словно смятая постель.

— Видишь? — спрашивает манси Петр Ильич.

Мы всматриваемся, как просыпается Тур-Ват — огромное озеро. Над ним розовеет и тает теплый пар,

клубится он, нависает мохнато, но легко и прозрачно опускается пластами, лентами невесомыми струится, и кажется, что озеро дышит, поднимается из пара, открывается в тихом дыхании... Тихо просыпается Тур-Ват у подножья Урала.

Прошло две недели, как я высадился с отрядом в верховьях Северной Сосьвы, на берегу озера, неподалеку от избы манси Самбиндалова. Он подошел к нам, когда мы разбили лагерь, и тихо поздоровался: «Пасе!» Не робость, а настороженность, какая-то печаль в его взгляде, скованность в движениях и осанке. Седые волосы скомканно падают на смуглый лоб, прикрывая раскосые глаза.

— Что с тобой, Петр Ильич? Заболел?

— Плохо жить стали, — ответил он и прикрыл глаза. — Совсем ничего не жалко. Кто из ваших петли ставил? — У его ног улеглись собаки, повернули к нему тяжелые свои морды и насторожились, а Петр Ильич поднимался среди стаи, сухонький и щуплый, словно мальчик. — Зверует какой-то волк, петли ставит.

— Нет, наши не ставят, — возражаю ему. — Да и прибыли только что.

— Идем! — Петр Ильич отвернулся и медленно побрел, окруженный собаками, такими же молчаливыми и чуткими, как хозяин. Он неслышно ступал по мокрой тропе, потемневший и скорбный, и собаки не рвались вперед, словно чуя, что у хозяина тяжело на душе.

Он привел меня к речушке Саклинг, что пробирается среди мхов, болотных кочек, выходя из серых ельников, и здесь, на звериной тропе, в петлях, дотлевая, светлели два лосиных скелета. Такие петли из гибкого стального троса ставит лишь Кравец из сейсмоотряда. Семь смертей настороженно таились в кустах, в мерцании болотца, распахнув пасти.

— Поймал одного — кушай! — сокрушается старый

манси. — Кушай сам, людей корми. Губить-то зачем, будто не человек, а волк?

Петля захлестнулась на рогах девятилетнего сохатого и не выпустила. Обезумевший зверь разметал валежины, расщепил, измочалил пихту и раскорчевал мелкий ельник в радиусе десятка метров, разворотив землю.

Лось долго умирал.

— Стыдно мне! — Петр Ильич стоял отяжелевший, словно кедрач перед грозой. Ему плохо, непонятно и потому горько. — Ты знаешь того, с петлями? Увидишь, спроси, почему жрет больше волка.

Тихо-тихо раскачивается Тур-Ват... Я видел его в дождь, тогда все было зыбко, низкие тучи цеплялись за носатые волны, тревожно бились чайки, и кричали утки, и свистал, погуливая по озеру, ветер. Озеро выбрасывалось из берегов, рушило их, и падали шумно в озеро кедры.

— Старики говорили, что бог наш Торум послал на землю трех богов, — покойно покуривает Петр Ильич. — Одного в Ивдель, другого в Пелым, а третьего сюда. Так старики говорили...

— Куда — «сюда»? — не понял я.

— Сюда, в Тур-Ват, — кивнул на озеро Петр Ильич. — Святое оно... Видишь, гора Ялпинг-Нер — шаманья, святая. И река Ялбынья, во-он впадает, тоже святая.

Имба, что стоит на карте, и все вокруг: озеро, река, тропа в темной чащобе, пережат перед омутом, где затаился таймень, где жирует соболь, хребет Ялпинг-Нер — это дом, храм, мастерская, академия и клад старого манси. И он бережет их как заветы предков.

В середине августа мне позарез понадобились данные геофизиков, я сговорился с ними по рации и отправился. Сорок километров продирался верхом,

целый день. На пути — два заболоченных тягуна-перевала, несколько речушек с топкими бродами, а спуск пролег зигзагом сквозь перепутанный шиповником и малинником старый горельник, что пророс молодым березняком. Палит солнце. Лошадь едва переставляет ноги, не перепрыгивает, а как-то переползает через поваленные стволы, я тащу ее за повод, она шарается, диковато косит глазом в непролазный горельник: тревожат, пугают ее запахи зверя. В горельнике раньше выспевает ягода, на ягоду идет птица, за дичью крадется хищник.

В шестом часу, опухший от гнуса, я услышал взрывы, потом пролетел вертолет, через полчаса он вернулся, снова грохнул взрыв, но уже ближе ко мне, и я встревожился: стоянка геофизиков должна быть восточнее. Лошадь дернула за повод, ветка хлестанула по лицу, я потянул ее на себя, под ногами хрустнуло, лошадь шархнула боком — из-под ноги жестко взметнулся глухарь, только треск пошел по чащобе. Проступила тропинка, влилась в другую, поглубже, вильнула она, и впереди зарокотал мотор, он возник неожиданно, но уже совсем близко, просто я принимал его раньше за рокот и гул реки, к которой я добирался, — значит, они близко. Появился просвет, то оказалась широкая шестиметровая просека, а по просеке ходила и лязгала машина, странная диковатая машина, похожая на рычащий утюг. Вот он неуклюже и медленно развернулся, будто переступая гусеницами, — ух ты, какая громила, словно допотопное чудовище! На лобовой его части, впереди, приварен нож, или клык, потяжелее, чем у бульдозера. Утюг крушил тайгу, как камыши, пихта ломалась, словно стебель подсолнуха, казалось, что не деревья валит машина, а осоку, и под ней, под ее тяжелым брюхом неподатливо пружинила лишь береза, а сосны, осины, лиственницы как-то сухо и легко лопались и потрескивали лучиной. Нож не сре-

зал дерево, а тупо ударял так, что переламывал, спускал чулком шкуру, задираал ее, дерево клонилось, дрожало, и моталась его макушка, и нож задираал тонкую кожу от комля выше и выше и обнажал что-то до бесконечности стыдливое в беззащитной застенчивости ствола. Сосенки падали, растопырив корни, и осыпались с них комья супеси, рушились оземь кедры, осины и ольха, и утюг ползал и лязгал в крошечке стволов, листьев и хвои, обрызганный и заляпанный соком, елозил и рычал остервенело, оставляя за собой рваный шрам, так похожий на фронтовую искромсанную дорогу. Когда чудовище остановилось, из кабины высунулся по плечи головастый белозубый водитель, увидев меня, замахал руками, что-то кричал, показывая на лес, на месиво земли и зелени, похлопывал по стальному корпусу и хохотал, откидывая голову. Кравец вылез по пояс, раскинул руки и загоготал на весь лес, столько в нем силы, и так остро и жадно смаковал он всеисилие своей работы.

— Эй! — крикнул он мне. — Догоняй, Чингисхан! Ну-ка, попробуй на клячонке!

Клыкастый утюг заскрежетал железом, рванул с места, прыгнул и покотил вниз по просеке, задрав кверху тускло отсвечивающий нож, с которого свисали перекрученные волосинки корешков.

— Догоняй, Чингисхан! — орал Кравец, перекрывая рев мотора.

А подо мной потрухивала как раз та лошаденка, что попала в стальную петлю, настороженную Кравцом, как раз та лошаденка, что едва не подохла на лосиной тропе.

Под затухающий рев машины я не расслышал вертолета, — он низко пролетел над сосняком, сделал круг, второй и присел близко от меня. Я повернул коня, и через километр распахнулось озеро в форме подковы. На берегу его человек пять, торопясь, бегом,

погружаясь по щиколотку в болотце, таскали в вертолет мешки с рыбой. Вертолет подпрыгнул, чуть пробежал по песчаной косе и, накренившись, взлетел, взяв курс на юго-восток. Из рыбаков я узнал только Степана Терентьева, техника-геофизика. Он сидел на гладкой коряге, мокрый, потный, с ног до головы в чешуе, от остальных тянуло острым запахом тины, болота, травы. Возбужденные и усталые, они не обращали на меня внимания, прыгнули на зыбкие плотики, кое-как слепленные из сухих елок, и, упираясь шестью, поплыли.

— К нам, что ли, добираешься? — устало и как-то недоверчиво спрашивает Степан. — Лагерь-то километрах в пяти... в сторону...

— Как рыбка-то?

Степан ничего не ответил, стаскивая с себя рубашку.

— Рыбка-то как?

— Да как?! Первый улов, считай, кто ее здесь когда ловил... Окунь да щука... глянь, друг друга едят...

На берегу щука лежала поленицей, ровная такая, нагуленная, молочнобрюхая и сероспинная. Окунь навален колючей, шершавой грудой, таращится сотней вспученных глаз, алеет, грудится хвостами и перьями плавников. Отдельной кучкой на пихтовом, нежно-зеленом лапнике краснеют таймени, и у каждого башка с ведро!

— Гляди, налим! — кричат с озера. — Налима брат, что ли, а? Брат скользуна?

— Бери! — откликаются с другого плота. — За ради максы — печени — бери... Вкуснятина.

— Он утопых жрет! — подает голос первый плот. — Мразь мерзкая... утопых жрет, а?

— Кому рыбу заготавливаете? — спрашиваю Степана, а тот на корточках потрошит тайменя, нарезаая тонко

нежные розовые ломтики — Подрядились, что ли, на зверосовхоз в нерабочее время? Зверям, что ли, заготовляете, Степан?

— Зверям? — удивляется Степан. — Ты что, Алексей, заработался? Себе на зиму маленько взять решили — гибель ее здесь. Выбьем шурфик до мерзлоты и замаринуем ее вкрутую, по-зырянски. Кушай всю зиму.

— Ух ты, харя мокрогубая, утопых жрать, а? — доносится голос с плота.

— За ради максы бери... Здесь нету утопых вовек... — отдается сочный бодрый басок. — Здесь люди не обитают — тайга! За ради максы бери — вкусна печеночка...

— А в вертолете кому дарили? — поинтересовался я, глядя, как ловко крупной солью посыпает Степан распластанного тайменя.

— В каком таком вертолете? — удивленно переспросил Степан и поднял ко мне тяжелое чистое лицо... — На каком вертолете, Алексей Петрович?

— На том, что в город пошел... Не для жратвы озеро ограбили, а на барыш.

— А чье оно, а? Чье озеро, ответь? — поднялся Степан, мокрая рубашка повисла до колен, лицо все заляпано чешуей и сукровицей. — Совхоз сюда сроду не заходит, вишь, нет дорог. А местный мансиец зимой только заглядывает — зачем ему окунь? И по угодьям — оно ничейное...

— Ух ты, тварь склизкая! — кричит первый плот. — Утопых жрать, а?

— За ради максы бери, — успокаивает его сочный басок.

— Сгубили озеро, Степан... Натаскали бы сетью, зачем рвали, а? Молодь-то...

— Ничейное озеро, Алексей Петрович, честное тебе слово. Куриков у нас, ну знаешь из братьев Кури-

ковых, ну, Василий, тот говорил, что деды только брали, да и то когда ордой шли на промысел.

Плоты ткнулись в песчаную косу, парни принялись стаскивать рыбу. Среди окуней и щук вместе с тайменем и налимом попадался хариус, сорога и язь. Богатое, видно, озеро, редкое. Степан старался не смотреть на меня.

— Сколь, Степан, нам эти хмыри отвалили?! — подсел к нам тот парень, что «за ради максы» вытаскивал налимов. Он дрожал от холодной августовской воды. — Завсегда на рыбалке у меня колотун... — объяснил он мне. — Сколь, спрашиваю, спиртяги подкинули эти жлобы?

Степан поднялся, отошел в тальник, вынес оттуда пару бутылок. Холодно и прозрачно отсвечивали они в опускающемся солнце.

— Примешь, Алексей Петрович? — предложил виновато Степан, когда я заседлал свою лошаденку и подтягивал подпругу.

— Он чего тебя виноватит? — подбежал посиневший парень. — Эй ты, друг? Ты чо, рыбнадзор или сельсовет? Кого ты нос суешь, куда мой хобот не лезет, а?

— Отойди, Сунцов, не дергайся!.. Жалко, конечно, Алексей Петрович, что взрывом взяли, — поторопились! Озеро, понимаешь, на безлюдье, словно брошенное, — принялся оправдываться Степан.

— Мы геологи, понял? — напирает на меня Сунцов, закатывая глаза. — У нас лицензия есть, понял? А я счас у тебя документ потребую, а то бродит здесь, как поп, с постной мордой. Рыбки тебе жалко, а? Вон, гляди, голяком налим, он утопых жрет, а!

— Счас он тебя попробует, — пообещал я Сунцову. — Он таких психованных, с душком особо уважает.

— Ты чо, а? Чо ты? — попятился Сунцов. — Чо ты лезешь на рога, а? Я иду своей стороной, ты —

своей. Рыбки хочешь — бери. Вон максу бери — вкуснотишка!..

Из озера выбегало несколько речушек, и по берегу одной торопилась проторенная, подновленная тропа, вихлястая и кособокая, в зигзагах и петлях. Только и подкарауливать на такой тропе, а не на охоту ходить. У меня не выходило из головы загубленное озеро, парни, поленицами складывавшие рыбу на берегу... И ведь немало еще таких. Приходят на сезон в тайгу — словно возвращаются в каменный век, хотя у себя дома лишний раз не кашлянут, не закурят где не положено, чтобы не нарваться на штраф или на осуждение окружающих. А здесь дичь, тайга, — значит, и по-дикому рвать ее?..

Темнеет. Лошаденка устало пофыркивает, за спиной густеют сумерки, вершины сосен еще светлеют, а в ельнике тропа едва угадывается, но лагерь уже слышен: гремит «Спидола».

Посреди лагеря полыхает костер из саженных бревен, освещает пять десятиместных палаток, тент над столом из неошкуренных берез и громаду машины, от которой падает тень на палатки. Гремит музыка, разрушая вечернюю тишину, забивая шорохи и голоса леса, а ближе к реке потрескивает небольшой костер, над ним тяжело повисли ведра, из которых поднимается запах ухи, лаврушки и перца. Вокруг костра толпятся бородатые парни, держа над огнем прутья и палки с насаженной рыбой.

— Здорово! — улыбается начальник отряда Машин. — А мы тебя к обеду ждали... Дорога скверная?

— Лошаденка слабая, — отвечаю Машину. — О каждый пень спотыкается, через кочку падает...

— Да ее на мыло пора, — вынес приговор Машин, обжаривая щуренка.

— Чего с нее возьмешь, из петли вытащил. Не дышала.

— Самоубийством, что ли, кончала? — улыбается Машин, протягивая мне кружку с чаем. Кравец рядом хохотнул, откинув голову, высветился белозубо. — Истощение нервной системы или на любовной основе? Как же она петлю соорудила, Алексей?

— В вашу, Кирюша, попалась, — отхлебывая чай, искоса поглядываю на Кравца. А тому хоть бы что — хохочет.

— Как — «вашу»?! — удивленно переломил брови Кирилл. — Что значит — «в вашу»?!

— А то, что петли на тропах пооставляли, — сообщая ему. — Насторожили петли и уши.

— Ну и что же? — снова удивляется начальник. — Кравец лосей отлавливал...

— Как отлавливал?

— Так и отлавливал, — спокойно отвечает мне Машин, отдирая запекшуюся корочку от щуренка, и чмокает — до чего же вкусный! — Лицензии у нас оформлены на трех лосей. А стрелять некому, бегать за ним некогда. У нас работа, Алексей, а у него, понимаешь, четыре ноги.

— Четыре — это я понимаю...

— Ну слава богу, хоть дошло... — задышал над щуренком Машин. — А то всегда обижаются, что геофизики заумно вам карты объясняют.

— Трех-то добыли? — чай какой горячий, губы не терпят.

— Сверхпланово работаем, — спокойно проглотил Машин. — Четырех... или пятерых, не помню. Не бросать же, если залез.

Кравец черпанул из ведра и поднес начальнику уши в кружке.

— А два скелета и посейчас тлеют. Да семь петель еще сняли.

Неосторожно хватанул ушицы Машин, обжегся, бросил в сторону кружку.

— Черт возьми, не уха, а пламя. Насовали перца — пожар!.. Ты что, Алексей, браконьерство лепишь, или как тебя понимать? У меня сорок человек орава — кормить надо.

— Надо, конечно, — согласился я. — Только петель твой Кравец наставил на все двести... У тебя, наверно, и порубочный билет в порядке?

Машин подозрительно всмотрелся в меня, прищурил глаза и прищокнул.

— Ну, в порядке... гоним просеки... За рационализацию премию отхватил. Гляди! — Он махнул рукой на железное чудище и закружил вокруг костра. — Луноход, только еще страшнее. Гром-амфибия... Клык-то у него просто золото.

— Золото, — протянул я, и будто наяву передо мной лопаются шура осин и ломко падают пихты.

— План дали на лето — пятьсот километров, а я уже к двум тысячам подхожу, — похвастал Машин.

— Так у тебя по билету трехметровая просека, а от твоей махины — все десять...

— Нет в тебе размаха, Алексей, — пожурил Машин. — А нам тут над осинками вздыхать некогда. По мне, работать — так уж на полных оборотах.

— Правильно, — кивнул я. — Рванул пять раз и погубил озеро до дна.

С разбега, будто в стену влипился, Машин остановился. К костру подходили мокрые, измученные рыбки. Степан бросил на траву брезентовый мешок.

— Макса!

— Какое озеро погубил? — переспросил Машин.

— Он, Кирилл Ваныч, в чистенького играет, — подал голос Сунцов, — он, Кирилл Ваныч, накапать запросто может, чтобы выслужиться.

— Так что я, выходит, со всех сторон браконьер? — удивился Машин, оглядывая всех у костра. — Петли ставил, озеро погубил, так, что ли?

— Он, наверное, у манси меха скупает,— влез Кравец.— В доверие к ним вошел и меха у них забирает, а нас чернит. Мы ему прямо в кон попали, Кирилл Ваныч...

«Стыдно мне!— говорил манси Петр Ильич.— Ты знаешь того, с петлями? Увидишь, спроси, почему он жрет больше волка».

— Пойми, мы работаем, Алексей!— растолковывает Машин.— Работаем так, чтобы видеть результат, а не гипотезу. Остальное мелочь — плюнь и разотри! Документы у нас в порядке, у лесхоза — порубочный билет, у охотников — лицензия. Никто не может быть в претензии. Потому что у нас есть документ!

Да, многое можно прикрыть бумагой. Но чем прикроешь дотлевающих в петлях лосей и раздавленный лес, и мертвую воду, еще недавно вскипавшую от рыбьих всплесков? Нет, Кирилл Машин, такое не прощается. И зря ты надеешься, что я буду молчать.

Тихо-тихо в волнах своих покачивается Тур-Ват — огромное озеро.

— Как человек он, да?— кивает на озеро старый манси.— Когда светлый — добрый, то совсем темный — сердитый. Стареть он стал: трава его душит. Слабо совсем дышит, слышишь?

— Да,— отвечаю старому манси.— Слышу!

— Бобер завелся, пришел,— доверяет мне Петр Ильич тайну озера.— А бобреху я из-за Урала принес. Пусть у них детишки станут. И не умрет тогда Тур-Ват. Говорят же старики, что Торум бросил сюда маленького бога. Но разве боги сохраняют землю, если в душах у людей откроется пустота?

Тихо-тихо в волнах своих качается Тур-Ват, под шаманьей горой Ялпинг-Нер.

— Как человек он, да?— говорит Петр Ильич.— Живой совсем...

ВЕЛИКИЙ ОХОТНИК БАХТИЯРОВ

Тропа углубилась, отсырела, заметалась между кочек, уперлась в поваленную ель и, перешагнув через нее, расплзлась и стерлась в болоте. Неширокое, но длинное, оно напоминало затаившуюся щуку, зеленовато-желтое, в тусклых чешуйках лужиц. Каюр Яков оставил караван, повел головой налево — километра полтора, посмотрел через правое плечо — километра два, перед собой — двести метров гиблой трясины.

— Кругом гулять начнем? — обернулся к геологу каюр. — Или напрямик попробуем?

— Спробуем, — ответил Смирнов. — Эгей-ей! — И голос его прокатился по мякотине мхов, над торфяными бугорками, прокатился и потонул. Спешились, срубили палки и пошли на ощупь. Каюр впереди: полегче он, Смирнов за ним. Качается зыбина, но держит, кровянится клюквой налитой — россыпи ее здесь, и свежа она, тугая, только что из-под снега.

— Гамак! — смеется Смирнов и проваливается по пояс. — Вот черт!

Походили, покружили, вымокли, выпугнули пару глухарей и наткнулись на тропочку, извилистую, но четкую. Вдоль тропки веточки воткнуты, на кривулинах-березках — затески.

— Бахтияров! — сообщил каюр. — Скоро изба.

Провели караван, ни одну лошадь не пришлось перевьючивать, ходко прошли болото.

— Это что, Яков? — спрашивает геолог. — Не раз по дороге встречал.

— Знак Бахтиярова, — каюр тронул коня, почти вплотную подъехал к неохватной лиственнице.

С той стороны ствола, что обращена к тропе, с лиственницы сорвана кора, а на затесе грубо вырублена лосиная нога подлиннее метра, с утолщенной коленкой и расщепленным острым копытом. Над барельефом

ноги высвечивает иероглиф в виде трезубца, где средний зубец пересечен диагональной чертой. Чуть выше копыта — три поперечные зарубки, а у коленки, на сгибе, вырезаны еще две — параллельные.

— Летом бил лося по траве, с тремя собаками, видишь три черты, и вдвоем он был, — Яков дотронулся плеткой до верхних зарубок. Прищурился, взгляделся в рисунок, подъехал к кострищу, осмотрелся. — Пять лет прошло, как они с Петькой Филимоновым зверя завалили. Ох и мас-те-ер же он сохатого бить. Но-о, трогай! — стеганул Яков коня.

Ручейки неглубокие, но грубо врезанные, проломились через ольховник, следом пихта клином прорубила осинник; тропа круче: на взгорок пошла, но уже по песку. Сосняк распахнулся, речушкой светло и чисто открылся, в ивняке и рябинах.

— Гляди, — показал каюр, — изба. Ой, хорошее, больно хорошее место Бахтиярову досталось, — завистливо оглядывается Яков. — Лосяное место. И соболю богатый. А кому досталось? — и он покачал головой.

— Как досталось? — не понял Смирнов и огляделся.

— Так и достается — дед его, отец, а теперь и сам он здесь охотится. У нас так — где деды охотились, теперь сами обретаемся.

Отворили дверь, припертую палкой. В оконце мутно просачивается свет, по углам мыши-пищухи натаскали травы, свили гнезда, на стенах ржавеют капканы, а на столе в опрокинутом ведре окаменела горелая гречка. В углу гряда соли-лизунца, нары закрыты разноцветьем лоскутного одеяла.

— Лета три, наверное, не был. Жених, — и плюнул Яков на пол. — Такое место покинул, а?

Около избы поднимались грубо вытесанные топором деревянные фигуры.

— Гляди — лебедь?! — остановился Смирнов. — Неужто топором? Смотри, какое изумительное лицо!

— То — баба его! — буркнул Яков. Долго вглядывался в тонкий лик Смирнов.

Ночевали у костра, из избушки выгнал спертый, перекишенный воздух: немоготу. Укладываясь спать, подминая под собой пихтовый лапник, Яков посоветовал:

— Слышь, Василий, возьми ты его каюром. Охотник-то он великий. Ой, и большой охотник. Везде караван проведет: места знает. Только лет пять назад будто спортили, кто-то глаз на него черный положил, что ли: совсем худо добывает. По всем поселкам бегает, баб ищет, тьфу ты!

— Да где здесь поселки? — согрелся и разомлел в спальнике Смирнов.

— Как где? А Манья... а Толья, а Няксимволь, а Ивдель тебе..

— Так они двести-триста верст.

— А ему чего? Ружье за спину, на коня или в лодку — пошел. Бабы у него нет, — посочувствовал Яков, — бабы нет, а он хочет ее. Без бабы ему печаль, плачет, как собака скулит.

— Женился бы, — уже сквозь сон бормочет Смирнов. — У вас же и вдовых полно, и девок.

— Так оно, — закуривает в спальнике Яков, ворочается, выбрасывая из-под себя кривую ветку. — Девки-то есть, да не идут за него. Боятся. Слышь, Василий, у него ведь три жены было. И ни одной, понимаешь, не стало.

— Развелись, что ли?

— То у вас развод! Развод, — фыркнул презрительно Яков и крутанулся в мешке. — Как такое может? То собаки проживут один день и разбегутся. У нас — цыц! Померли они у него. Хлипкие, видать, попались. Тонких таких баб он брал, осиновых. Чтоб песню пела, шкуры узорила, одежду чистую носила. А наша мансийская баба должна всякую работу работать: дрова рубить, сено ставить, рыбалить, шкуры выделывать, на

гребях лодку подымать. Первую-то оставил одну в избе, а сам зверя добыл и — в поселок. Две недели, пока лося не съели, — все в поселке. Он, Бахтияров, ну совсем не жадный. На, бери, все отдаст. А жена сидела, сидела, ребятишку в себе носила, река встала, вот она берегом и пошла в поселок. И не дошла, замерзла. Плакал он. — Яков помолчал, вслушиваясь, далеко ли кони забрели. — Зачем красивых брать, а? А вторая потонула. В реке потонула, слышь? Когда рыбалила... так вот.

Смирнов уснул, намотался за день в седле — полста километров прошли по камням да по буреломнику.

Через неделю Смирнов вернулся в поселок — базу он выбрал, коней перегнал, людей отправил, чтоб зимовье да склады поставили, подготовил вертолетную площадку и теперь дожидался геологов из экспедиции.

Наступил июнь — самый разворот работ.

Ночью Смирнова разбудили собаки стозевым лаем, с реки грохнули дуплетом, загомонили женщины, захотали мужики. Яков поднялся:

— Охотник вернулся. Спи.

Весь день Смирнов встречал людей, устраивал, кормил, принимал грузы, отправлял инструмент на участок. Только вечером он увидел Бахтиярова. Тот двигался сквозь поселок медленно, не двигался, а выступал, опираясь на плечи дружков, вернее не опирался, а удерживал их, чтоб те не пали. За ними галдела, орала песня растрепанная свита с гармошкой, балалайкой, какой-то тоненькой бренькающей штуковиной. По бокам мохнато клубились собаки, а над всем этим висела пыль. Позади брел каюр Яков. Он был счастлив, встретив друга своего Бахтиярова.

— Пасе, руми! — протягивает Бахтияров широкую жесткую лапу и сияет. На две головы вздымается он над толпой. — Здравствуй, друг, здравствуй, большой начальник — яны поэр!

— Здравствуй, Бахтияров,— улыбается Смирнов и нажимает на ладонь Бахтиярова.— Здравствуй, руми!

— Знаешь? А? Меня ты знаешь, начальник?— заволновался Бахтияров, и на широком приятном лице открылись глазки, и рот поднялся к ушам, и он быстро заговорил по-мансийски, принялся размахивать руками, весь охваченный жаром, пылко клясться и божиться, что его, Бахтиярова, знают все и везде. Потом согнал с лица улыбку, прищурился и серьезно, подняв палец, обратился к свите, сказав по-русски:

— Он знает Бахтиярова! Он узнал меня, еще не видя! Меня знают везде!— И все закивали, заулыбались, забренькали, загомонили.

Стоит Бахтияров, не качнется, на крупной круглой голове темно-синяя пилотская фуражка, плечи плотно обтянуты парадным солдатским мундиром в сверкающих пуговицах, а мундир перепоясан широким моряцким ремнем с горячей на солнце бляхой. В синих галифе стоит Бахтияров, в белых шерстяных носках и новеньких галошах. Сверкают эмблемы, высвечивают пуговицы, пряжка, сияют галоши, теплится улыбкой Бахтияров. Из-под ворота кителя будто невзначай выглядывает бруснично-красная рубаха.

— Меня знают все!

— Все, все тебя, Алексей, знают,— загомонили друзья и родственники. Яков раскинул руки и шагнул к другу, но собака шмыгнула меж ног, и Яков пал.

— Я самый богатый!— заявил Алексей совершенно трезвым и густым голосом. Смирнова неприятно покорибила эта похвальба. Но Бахтияров закончил:— Все, что добываю, ваше! Все, что имею, на всех! Хоть за столом у меня кушай, хоть домой бери! У меня — много! Идем ко мне в гости, яны поэр!

— Некогда мне, Алексей, некогда,— принялся отказываться Смирнов, оглядываясь на геологов.

— А ты всех бери! Всех! Праздник у нас. Двух

лосей добыл, печенку будем кушать, мясо, винку пить! — заликовал охотник. — Сам к тебе пришел. И музыку давай! Не обижай Бахтиярова!

— Ну, раз так — пошли!

И вся партия толпой с гитарой, аккордеоном, поющими «Спидолами» пошла через поселок на пир к великому охотнику Бахтиярову.

— Ой, боюсь я, боюсь, — чуть не плакал Бахтияров, садясь с геологами в вертолет. — Ни в жизнь не летал... ой, страшно, паду в землю... — Нисколько он не стыдился своего непонятного страха, ибо страх исходил от неуверенной, такой хрупкой машинки, которая сама не знает, на чем она держится да еще летит.

Из табуна отобрал Алексей для партии с десяток тощих кобылиц, в чем душа держится, но зубы здоровы, да, меринков, что пошире в груди, сбил их в связку и через две недели гонял рысью, а спустя месяц поднял в галоп.

Угодья, где всю жизнь охотился Бахтияров и по которым он вел сейчас каюром партию Смирнова, были по площади чуть поменьше Кипра. И Смирнову как-то пришло в голову, что Алексей, должно быть, ощущает здесь себя этаким таежным владыкой. Поднимаясь по распадкам, спускаясь с горушек, пересекая речки, Василий все чаще и чаще натыкался на бахтияровские знаки, насчитал их больше сотни, сбился в своей арифметике, и почти везде, судя по знакам, охотник шел на зверя один, но с тремя-четырьмя собаками. Сначала Смирнов не понял, почему лосиная нога поднята на трехметровую высоту, и, чтоб разглядеть иероглиф, приходилось задирать голову, потом догадался — снега такие! Снега трехметровые, и в этих снегах — охотник.

— Сотня лосей, просто бред какой-то, — поражается Смирнов и вглядывается в Бахтиярова, как в чудо непонятное, а тот улыбается дружелюбно, отсвечивая хит-

ринкою глаз. — Космические масштабы. Я сотни глухарей не добыл вместе с рябчиками, если сложить... а тут лоси?! Ужас какой-то... Неужто съели? — допытывается он у охотника. — Это же горы мяса... съели?

— Съели, начисто съели, — хохочет Бахтияров, открывая широкий крупнозубый рот. — Да еще лисам на ферму добывал мясо. Тридцать копеек кило... Пропади они пропадом, жрут, как огонь. Наши бабы их не носят. А твоя мехом греется? Ладно, — решил Алексей, — дам тебе двух соболей. Подарок. Нет, дам трех, — сурово сказал он. — Дам трех, если ты меня отдарить.

— Чем же я могу отдарить? — удивился Смирнов.

— Давай бинокль, мне больно надо!

— Это один... столько добывает, а сколько же по всей тайге? — задумался Василий, и ему стало не по себе. — Лисы... понимаешь? Да лучше их свиной корчить, черт возьми!

— Свиная вкусна, да, — облизнулся Бахтияров. — Раза два ел...

Молодые, еще не обтертые камнем геологи уходят в маршрут, увешанные оружием — за плечами двустволка, или «Белка», на поясе нож, — дорвался город до простора. Тайга нетронутая, безлюдье, зверь испуганный, жирует себе покойно — глаза горят, а за плечами ружье...

— Отбери ты ружья у них, яны поэр, — взмолился Бахтияров. — Мышей ведь бьют, а? Сколько надо мяса — добуду, только скажи! Птица станет на крыло — бей! А эту... — и кинул под ноги Смирнова окровавленный комочек в перьях. — А мышку почто бьют? Мышка — соболю, кунице корм... Это город делает людей такими?

— Нет, то не город виною, — отвечает ему Смирнов. — Понимаешь, они что-то растеряли на большой шумной дороге. Ты понимаешь меня, руми?

— Всю жизнь, а мне... сорок... — грустно проступает голос Бахтиярова. — Всю жизнь я бил тропу к большой

дороге. Маленькая тропа погубит на большой дороге, а...?

Смирнову не совсем понятен Бахтияров, и, часто вглядываясь в него, он спрашивает себя, почему Алексей оставил в избушке ту, что носила в себе его ребенка, ту, с тонким лицом лесной богини. Три года уже не приходил он в свое угодье, бродит по ничейным речушкам, по бесхозным чащобам.

— Ты сбежал? — спрашивает его Смирнов. — Тебе страшно или стыдно?

— Худо мне, — ответил охотник, — не я погубил... не выбирал ее погибели, ушел, не думая, в поселок... А сейчас живое развожу, как в жертву ей. Примет ли?..

Бахтияров вставал с зарей, с зарей ложился, в дожди спал, как шмель, а в солнечные дни он беззаботнее бурундука, кричит криком, ликует, захлебывается от возбуждения — ну, дите тебе. Проснется в утреннем тумане, стряхнет росой сон, раскинет костер, поднимет повариху и бежит проверить коней, и вот уже лагерь загомил, загремел, заскрежетал, заплескался, и Алексей толкается среди всех, интересуется здоровьем и протягивает жесткую широкую руку.

Он всматривается, как наливается цветом геологическая карта, глядит внимательно, приоткрыв рот, на необычную картину, на зеленоватые массивы габбро, на красные пятна гранитов, смотрит и, хлопнув себя по бедрам, восхищенно произносит:

— Мастер. Ма-ас-те-ер ты... Мас-те-ер!

Потом торопится к костру, уложит поудобнее полено, попробует у поварихи суп:

— Мас-тер ты!

Подойдет к горняку, что правит ножом пиратскую бороду, округлит глаза, громко изумится: «Мастер... Мас-тер ты бороду шкурить!»

— Дай закурить!— просит Алексей, а сам смотрит, как геолог изучает образец.— Рудку ищешь? Железку ищешь? И золото маленько есть? Ишь ты... мас-тер...

Девчонки постирали ковбойки, развесили по кустам, подошел, помял пальцами, понюхал.

— Мас-тер!

Он понимает, что каждый где-то в чем-то должен быть мастером. Да и сам он мастер. Вся округа знает, что Бахтияров великий охотник, следопыт, визнавший тайну следа, повадку, хитрость и ум и силу зверей.

— Горносталя? А... горносталя... хитрый он, как рыба. Мастер он следы путать. Бьем, бьем маленько... Соболь бьем и куницу бьем. Нам можно!

— И лось бьем?— подначивают парни.— Давай сейчас убьем?!

Бахтияров оглядывается вокруг.

— Где лось? А?!— смеется.— Обманул меня. Можно и лось, нам все можно... Наша тайга — моя, твоя... его.

— Лосей ведь нельзя бить без лицензии,— говорят ему.

— Нельзя!— твердо отвечает Алексей.— Нельзя! Около поселка нельзя, там много больно глаз закон берегут. Но маленько можно... Два... Три... А зачем больше?— зажигаются азартом его глазки.— Поел сам, другому дал, и хватит. Потом еще можно. Лось, он еще себе родит. Лось — он ма-ас-тер! Он волку редко когда на клык попадет, ой... редко...

И лось у него мастер. И собаки у него мастер. Летом он их не кормит. «Пускай так себе живут, зайцы есть, мышка... Это им вку-с-но!»

Отдыхая, Алексей беседует с собаками по-мансийски, толкует им о чем-то важно, но мягко. И собаки, словно загипнотизированные его взглядом, негромким голосом, падают перед ним на грудь, подползают к нему на брюхе, молотят по земле хвостами, и преданной медовостью наливаются их глазки. Мастер он с собаками

толковать. Собаки ведь понимают, что Алексей говорит им о дичи, о лосе и медведе, о бескрайности тайги и жизни, о том, что скоро наступит их пора. Нагулялся зверь, наплодился, выспел — хватит пестовать, тех, кто послабее, выбирать пора. Зверь, как и человек, слабеет от сытости.

К концу сезона Алексей не казался уже грузным и неуклюжим от силы, лицо его стало тоньше, тверже, он как бы обуглился на солнце. В лагере он почти не бывал, а в короткий отдых, развалившись у костра, оставался молчаливым, погруженным в себя.

Однажды Смирнов углядел у него маленькую странную карту, сработанную химическим карандашом на книжной обложке. Бахтияров долго сопел, мусолил карандаш, расфиолетил губы, разбрасывая по картонке полные таинственности значки. В скупых, но удивительно точных штрихах угадывались очертания хребтов, перевалы, ложа долин, в которых ветвились знакомые реки, обозначались массивы тайги с плешинами горельников и размазывались лишай болот. По карте, точнее, то был рисунок-план, разбросаны треугольники, крестики, кружочки, и они, эти значки, собирались в непонятный экзотический орнамент и являли собой еще не оконченную, но постоянно наполняющуюся картину.

Увидев Смирнова, Бахтияров засмутился, покраснелся, вспотел, принялся отворачиваться в сторону и прятать глаза.

— Интересный рисунок, — Смирнов ткнул пальцем в цепочку тонюсеньких крестиков. — Что это такое, Алексей?

Бахтияров долго молчал, отирал пот, чесал за ухом, расстегнул ворот, наконец разлепил рот:

— Все... все места приметил, знаки поставил, ой охота будет богатая! А потом в стада уйду, оленей каслать, не хочу больше жизни зверя лишать!

Вот и ясно все стало Смирнову, почему несколько лет Бахтияров не приходил в урочище, оберегал, не пугал жировавшего зверя, давал ему время прийти в себя, расплодиться, а сейчас устраивал какие-то кормушки, в соболиных местах подбивал и оставлял на деревьях глухарей, сшибал ястреба, чтоб кунице больше дичи досталось. На просеках, что вели к водопоям, он рассыпал соль, и Смирнов вспомнил, почему ее все время не хватало,— потихоньку, исподволь подманивал Бахтияров зверя, а тот сбегался в эти места, чуя, что здесь не тронут. В памяти своей Алексей застолбил каждое дупло, пусть даже беличье, сюда в жестокий мороз придет соболь и задавит здесь белку, насытитсся ею. Приметил он в реке и выдру, и горностаевы норы, и мышинные гнезда, запомнил, где хоронится сова и разгребает корни медведь. Он готовил свою охоту. Готовился собрать урожай, не портя корня.

В дремотное октябрьское утро Смирнова разбудил звон топора. Топор врезался в дерево сочно и легко, и слышалось, как падала кора и упруго ложилась щепка на остывшую землю. Смирнов вышел из палатки. Лес мохнатился и курчавился инеем, тускло отсвечивал снежинками, гляделся в темную стремнину реки, пробивающейся сквозь пар. В оголенную рябину опустились снегири, а в ельнике елозили клесты, заячий след печатался по берегу ручья. Бахтияров, скинув телогрейку, махал топором — вырубал лосиную ногу. Вот он расщепил копыто, вырубил свой знак — трезубец и закурил. От его спины, от жестких прямых волос поднимался легкий пар, а пот заливал лицо, но оно было довольным и подобрешшим.

— А лося-то нет? — удивился Смирнов. — Ведь не валил?

— Не валил!— радостно чему-то своему улыбается Бахтияров.— Не валил, а знак ставлю, чтоб знали — у Бахтиярова зверь не выводится! Чтобы помнили: Бахтияров — великий охотник. Нарочно... Нарочно я знаки ставлю, знак никого в угоде не пустит, а лось, мастер он, пусть гуляет. Пусть маленько живет... Сильный, больно хороший зверь!

СОДЕРЖАНИЕ

Повести	
И вечный бой...	3
Мамонты и фараоны.	32
Рассказы	
Открыватели	118
Следы	129
Белая Корова	138
Уговорили...	147
Озера у подножья гор	158
Великий охотник Бахтияров	170

В 1976 ГОДУ
В СРЕДНЕ-УРАЛЬСКОМ КНИЖНОМ
ИЗДАТЕЛЬСТВЕ
ВЫХОДЯТ НОВЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
УРАЛЬСКИХ ЛИТЕРАТОРОВ:

Л. Александров
«ВЗРОСЛАЯ ДОЛЖНОСТЬ».

Повести о людях уральской деревни.

С. Бетев
«БЕЗ ПРАВА НА ПОРАЖЕНИЕ».

Повести о работниках милиции.

С. Слепынин
«ЗВЕЗДНЫЕ БЕРЕГА».

Фантастическая повесть.

А. Филиппович
«БИЛЕТ В ОДИН КОНЕЦ».

Повесть и рассказы.



Сазонов Г. К.
С14 Мамонты и фараоны. Повести и рассказы. Свердловск, Средне-Уральское кн. изд-во, 1976.

184 с.

Сборник новых повестей и рассказов тюменского писателя.

С 70302—056
М 158(03)—76

Р2

Геннадий Кузьмич
Сазонов

МАМОНТЫ
И ФАРАОНЫ

Редактор
М. П. Немченко
Художник
В. Н. Печенкин
Художественный редактор
Ю. Н. Филаненко
Технический редактор
Н. Н. Зауолокова
Корректоры
А. Н. Винокурова,
О. Б. Щеголева

Сдано в набор 8/1 1976 г. Подписано в печать 26/IV 1976 г.
НС 15091. Бумага типограф. № 1. Формат 70×108¹/₃₂.
Уч.-изд. л. 8,1. Усл. печ. л. 8,1. Тираж 15 000. Заказ 24.
Цена 39 коп. Средне-Уральское книжное издательство, Свердловск, Малышева, 24. Типография изд-ва «Уральский рабочий», Свердловск, пр. Ленина, 49. Обложка отпечатана в производственном объединении «Полиграфист», Свердловск, Турганова, 20.

84

НОВАЯ ЦЕНА

8

руб

—

коп

— — — —

Свердловск
Средне-Уральское
книжное
издательство
1976